

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



Серия основана в 2002 году

ЭДИТ УОРТОН

Эпоха невинности
Итан Фром

Перевод с английского

Москва  2023

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44
У64

Перевод с английского

Оформление серии *Натальи Ярусовой*

В оформлении суперобложки
использованы фрагменты работ художников
Альберта Бека Венцелла и Фредерика Чайльда Гассамы

Уортон, Эдит.

У64 Эпоха невинности; Итан Фром : перевод с английского
Уортон / Эдит Уортон. — Москва : Эксмо, 2023. — 480 с. —
(Библиотека всемирной литературы).

ISBN 978-5-04-103669-0

Эдит Уортон — автор более двадцати романов и десяти сборников рассказов — первая женщина-писательница, удостоенная Пулитцеровской премии в 1921 году. Такие произведения Уортон, как «Обитель радости», «Итан Фром», «Эпоха невинности», «Плод дерева», вошли в золотой фонд американской литературы. Роман «Эпоха невинности» лег в основу одноименного фильма Мартина Скорсезе, получившего признание и популярность. Противостояние личности и общества, столкновение общепринятых моральных устоев и искренних глубоких чувств неизбежно приводят к трагедии, ломают человеческие судьбы. И не всем хватает мужества, чтобы преодолеть вставшие на пути к счастью препятствия и отстоять свою любовь.

«Итан Фром» — повесть о трагической судьбе фермера из Новой Англии, действие которой разворачивается на фоне суровой сельской местности.

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44

© Осенева Е., перевод на русский язык, 2023
© Комарова И., перевод на русский язык, 2023
© Сумм Л., предисловие, 2023
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2023

ISBN 978-5-04-103669-0

Оглавление

Л. Сумм.
Унесенные веком

5

ЭПОХА НЕВИННОСТИ

Перевод Е. Осеневой

КНИГА ПЕРВАЯ

19

КНИГА ВТОРАЯ

189

ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ

362

ИТАН ФРОМ

Перевод И. Комаровой

363

УНЕСЕННЫЕ ВЕКОМ

Первую повесть пятнадцатилетней Эдит мать дочитала до реплики: «Если б меня предупредили о вашем визите, я бы распорядилась убрать в гостиной» — и отложила, заметив: «Глупости! Гостиные всегда хорошо убраны».

В семье Джоунсов, потомков первых английских и голландских колонистов, строго соблюдались приличия.

Хорошие манеры предполагали прежде всего запрет «вульгарных» тем: секса, финансов (о деньгах миссис Джоунс рекомендовала дочери думать как можно реже) и даже искусства как слишком вольного проявления индивидуальности, особенно нежелательного в девушке на выданье. Изящные стихи более-менее были терпимы, и родители опубликовали за свой счет маленький поэтический сборник Эдит, но о прозе она забыла на долгие двадцать лет. Девушка последовала обычным для своего круга путем, вступив в спланированный брак с добрым малым и хорошим спортсменом Тедом Уортоном. Замужество оказалось классически несчастливым.

О муке человека, попавшего в ловушку «не своего» брака, Эдит напишет неоднократно. Известнейшие ее романы — и «Эпоха невинности», и «Итан Фромм», и «Дом веселья» — не столько о несчастной любви, сколько о неудачном браке. Замечательно, что героями и страдальцами в этих романах выступают мужчины. Свою дилемму Эдит делегирует другому полу отчасти, наверное, из цензурных соображений: женщина, бющаяся в тенетах добропорядочного, но почему-либо не удовлетворяющего ее брака, чересчур «вульгарна». И убедительнее становится выморочность тех условий жизни, в которых не только слабый и зависимый партнер, но и воплощение не-

зависимости — джентльмен со средствами — скован по рукам и ногам обычаем и приличиями.

Но это соображение для художественного произведения внешнее. Глубже — окрепшее в Эдит с годами «мужское» начало, дружба и профессиональное равенство с писателями и людьми искусства, среди которых подавляющее большинство составляли мужчины: наставник Генри Джеймс, ближайший друг и советник — Уолтер Берри, архитектор и соавтор первой книги Огден Кодмен.

И наконец — не зависть к мужской свободе, но свойственное творческому человеку желание сделаться «другим», увидеть мир чужими глазами, посмотреть на себя самого со стороны. И на редкость чуткое понимание того, что и «другой» столь же ограничен и несчастен. Уортон удивительно трезва и неутопична, это — одна из драгоценных черт ее таланта. Никакая судьба, никакая эпоха или страна не превращаются под ее пером в идеал.

В Америке второй половины XIX века проблема «другого» стояла особенно остро. Как раз в пору детства Эдит состоялось окончательное открытие Европы, и с тех пор на протяжении двух поколений писательские, а в значительной степени и читательские судьбы решались в зависимости от самоопределения по отношению к Старому Свету.

Одни утверждали безусловное преимущество нового образа жизни, нового Адама, требующего своей литературы. Так из Нового Света с прищуром смотрит на Старый Марк Твен. Другие столь же решительно предпочитали устоявшуюся европейскую культуру. Безусловным вождем этой группы стал «английский классик» Эдит — Генри Джеймс. Значительная часть американских писателей оставалась американцами поневоле, поскольку не имела средств для эмиграции. «О, если бы я мог эмигрировать!» — восклицает второстепенный персонаж романа, не находящий в Нью-Йорке применения своим талантам.

Выбор Эдит был существенно сложнее. Одна из тем романа «Эпоха невинности» — разрыв между миром состоятельных светских людей и миром творцов культуры. Главный герой, Ньюленд, искренне сожалеет об отсутствии картин в домах, забитых репликами античных статуэток, о неумении читать и нелюбви к книгам. Ни музеев, ни литературных салонов, ни интеллектуальных бесед в клубе. Основной вид искусства,

признаваемый его окружением, — опера («Шведские певцы по-итальянски передают сюжет немецкого поэта для англоязычных слушателей»). И он задается вопросом: кто мог бы соединить собой эти два мира, которые так легко и естественно соединены в Европе? Такой человек должен был бы по праву принадлежать к свету, но не подчиняться его законам или же иметь достаточную «харизму» и средства, чтобы навязать обществу новый вкус. «Беззаконной кометой» могла бы стать старуха Минготт, но та отродясь не интересовалась культурой. Или же законодателем утонченной моды мог бы стать Бофорт, у которого в доме как раз имелись картины, — но изумрудные ожерелья привлекали Бофорта гораздо сильнее. Мелькает в романе и третий вариант — светский человек, ушедший в науку и сохранивший лишь слабые связи с прежним окружением.

Связь между своим родным нью-йоркским обществом и миром культуры, в который Эдит Уортон стремится, она понимает как связь между Америкой и Европой. Создавая европейские книги об американцах, предъявляя американцам европейское зеркало, она исполняла свое жизненное предназначение. В пору зрелого профессионализма это стало призванием и счастьем, но в молодости еще не осознанное стремление скрепить собой два мира грозило душевным заболеванием.

В отличие от многих соотечественников, с Европой Эдит связывала детская память: спасаясь от финансовых последствий гражданской войны и связанных с ней «неприятных ощущений» (а хорошее общество, как явствует из романа, пуще чумы избегало всего неприятного, некрасивого, нарушающего его наивность), родители увезли маленькую Эдит в Европу и вернулись домой, лишь когда ей исполнилось десять.

Эту деталь нужно учитывать. В год, когда разворачивается действие «Эпохи невинности», Эдит исполнилось тринадцать лет. В ее памяти еще свежи европейские впечатления, выставки, концерты, достаточно пестрый и интересный круг знакомств — ко всему этому напрямую или через родителей девочка была подключена. За границей самые строгие условности смещаются, и Эдит могла общаться и воспринимать мир с существенным возрастным опережением. Возвращение на родину положило всему этому конец. Восторжествовали соображения приличия, и десятилетняя Эдит утратила разом и свободу, и ощущение своей взрослости.

В отрочестве и в первые годы брака ей и впрямь могло казаться, что она — певчая птица, запертая в золотой клетке, а родина духа, источник человеческой и творческой свободы — Европа. В начале 1890-х годов, когда угроза нервного срыва подступила вплотную, Уортоны начали по многу месяцев проводить во Франции и Италии. Но чтобы вылечиться, Эдит нужно было написать книгу, а это случилось только в 1897 году.

Когда пятнадцатилетняя Эдит писала свою повесть, она еще не была знакома с нью-йоркскими гостиницами — ну а в европейских всякое бывает. И чтобы вернуться к романам, ей нужно было не просто усвоить материнский урок — сдать экзамен. Таков был ее уровень требований к себе. Первая профессиональная, опубликованная книга Эдит — не роман. В соавторстве с Огденом Кодменом она написала книгу о дизайне и интерьерах американских домов.

К этому времени Эдит отлично разбиралась в «хорошо убранных гостиницах» и настойчиво рекомендовала сменить викторианский стиль с крупной мебелью, загромождающим помещение «антиквариатом», «ламбрекенами, гобеленами и прочим, чему и названия-то не подберешь», простой и строгой классикой.

В «Эпохе невинности» пристрастие автора к интерьерам — едва ли не одна из сюжетных пружин. Люди здесь могут быть одного покроя, они склонны к статике, зато их костюмы достаточно разнообразны и обсуждаются неоднократно, а уж внешний и внутренний вид дома, солидный адрес, соответствие традиции или моде — вот в чем проступают индивидуальные характеристики. Взять хотя бы эпатажное жилище старухи Минготт — за пределами модного квартала, с французским расположением апартаментов; суперсовременную и режущую глаз окраску особняка, купленного для молодоженов тестем Ньюленда, или наличие бальной залы у Бофорта, искупающей в глазах света наличие второй семьи. И здесь даже в крупных масштабах заметно движение. Бофортовская зала, как и окраска дома Ньюленда и Мэй, — новинки.

А детали! Интерьерные мелочи как раз и отражают вкус владельца. Мечты Ньюленда о библиотечных шкафах без стекол — очередное проявление тонкого вкуса, в ущерб практичности, как полагает старшее поколение; потрясшее Нью-Йорк умение

Эллен «разбрасывать» цветы, не собирая их крупными букетами. Простодушное общество многое простило графине Оленской за это элегантно нововведение.

И с такой же благодарностью общество откликнулось на предложение Эдит Уортон наставить его в хорошем вкусе, привести в соответствие с современными требованиями, сориентировать на европейскую моду, с учетом и собственных особенностей.

Однако на этом счеты Эдит с «хорошим обществом» отнюдь не сведены, и она ищет возможности описать нью-йоркский свет, не впадая в этнографизм (в «Эпохе невинности» Ньюленд постоянно сравнивает принятые правила поведения с ритуалами туземцев). И находит довольно жестокое решение: «Это легкомысленное общество обретает драматический смысл лишь через то, что его фривольность уничтожает... такова должна быть моя героиня, Лили Барт... женщина из общества, но без денег».

Роман «Дом веселья» вышел в 1905 году. Эта книга обнаружила два сильнейших качества писательницы Эдит Уортон — наблюдательность и великолепный, выразительный язык, ироничный без шутовства, проникновенный без сентиментальности. В XX век она вступала профессиональной, международно признанной писательницей.

В 1911 году Эдит Уортон даже не разоблачает, а раздевает нью-йоркское общество в еще одном романе, на этот раз откровенно сатирическом — «Обычай страны». Здесь замкнутая племенная система показана не с точки зрения жертвы, а с точки зрения плута — вернее, плутовки, многообращной карьеристки, которая хитроумно использует «обычай» в своих целях.

Но со всей полнотой гений Эдит Уортон, как многих англоязычных авторов, раскрывается не в романах, среди которых были и менее удачные, а в рассказах. В романах она до конца жизни будет прислушиваться ко внутреннему цензору, в угоду публике рельефнее выписывать сентиментальную линию, избегать чересчур острых тем. Зато ее рассказы не только емки, остроумны, неожиданны, полны афоризмов, превосходящих знаменитые «шутихи» Уайльда, — эти рассказы порой так откровенны, так горьки и циничны, что даже в пору ее славы журналы иной раз отказывались их публиковать.

Эдит любила и уважала «чтиво», поскольку любила и уважала своих читателей. Она создала немало шедевров на неувядающую тему привидений. Но сразу же, с первых публикаций, появились рассказы о творчестве, о лжи и искренности пишущего человека, о неизбежных жизненных разочарованиях, об отчуждении между близкими.

Может быть, с этих рассказов, а не с романа, пусть отмеченного премиями и экранизированного, следовало бы начать наше знакомство.

Одним из первых Эдит Уортон опубликовала рассказ «Оселок» — печальное и мужественное пророчество самой себе. Умерла прославленная писательница. Ее возлюбленный, обычный, порядочный, ничем не замечательный человек, при жизни быстро перестал отвечать ей взаимностью («никакой гений не искупит неумение укладывать волосы»), а после ее смерти не устоял перед искушением и продал ее письма, чтобы заработать денег на брак с любимой девушкой. Рассказ очень сложный: в отличие от романов, здесь герои проходят через множество душевных перипетий, их чувства далеко не сводятся к любви или алчности, гораздо существеннее стыд, сочувствие, уважение к себе или его утрата, жалость и верность. Эдит Уортон сумела в итоге провести своих героев через мучительные испытания — к очищению. Но как не увидеть в покойной писательнице, так щедро одаренной умением любить и посмертной славой, так скупой наделяемой прижизненным счастьем, — автора, саму Эдит Уортон?

Реальный роман в ее жизни состоялся позже (в 1907–1908 годах), и хотя объектом был человек незаурядный — журналист Морис Фуллертон, — трудно отделаться от впечатления, что ведущей в этих отношениях была Эдит. На пятом десятке она обрела наконец присущую ее родине мощную энергию и жажду жизни. Она стала настоящей американской писательницей-эмигранткой, прочно обосновалась во Франции — сперва в аристократическом Сен-Жермене, потом в пригороде. По собственным правилам разбила сад. С 1902 года ежегодно издавала по книге — романы, сборники рассказов, а также архитектурные и ландшафтные очерки. Обзавелась машиной и объездила всю Францию и Италию, выпустила два тома видов Италии, описание французских пейзажей. Добиралась до Туниса. Жила.

В 1913 году Эдит Уортон наконец развелась с мужем. В 1914-м началась Первая мировая война, и эпоха невинности оказалась в безвозвратном прошлом.

Эдит Уортон принимала деятельное участие в обороне Франции. Трудилась в благотворительных организациях, организовала приюты для беженцев, открыла им свой дом, помогала Франции профессионально. Она вновь объездила страну, не раз побывала на фронте и написала книгу «Сражающаяся Франция», оказавшую влияние на решение США вступить в войну. Когда американские войска высадились на европейский берег, офицеров снабдили еще одной книгой Уортон — руководством по французским манерам и обычаям. После победы Эдит Уортон была награждена орденом Почетного легиона.

Художественная литература, написанная ею за войну, была не слишком удачна — патриотичные военные повести. В 1921 году Эдит публикует очередной «американский роман» — «Эпоху невинности». Решение вернуться к теме нью-йоркского общества, да еще на полвека назад, могло показаться невыигрышным. Уолтер Берри, прочитав книгу, заметил: «Это прекрасно, однако никому, кроме нас с вами, не интересно. Наш мир давно ушел в прошлое».

За роман Эдит Уортон получила Пулитцеровскую премию, а вскоре и степень доктора Йельского университета. Отошедший в прошлое мир оказался притягательнее современности. Он был ограничен, тот мир, быть может, и нежизнеспособен, но то был мир порядочных людей. Даже самые мучительные и откровенные рассказы Эдит Уортон не могли бы состояться иначе, как в мире порядочных людей. В наступавшем сугубо материалистическом, расчеловечивающем веке душевные терзания ее персонажей едва ли понятны.

В некотором смысле «Эпоха невинности» — роман, задуманный той самой десятилетней девочкой. Она изображает нью-йоркское общество более однородным и оцепеневшим, чем в действительности, хотя в самом романе, вопреки повторяющимся заклинаниям о неподвижности нью-йоркского бомонда, то и дело всплывают персонажи и эпизоды, противоречащие этой теории. И в конечном счете единственным консерваторм оказывается Ньюленд.

Даже его невеста, невиннейшая Мэй, допускает возможность развода и разрыва помолвки во имя соединения любя-

щих сердец. Неподвижно, нерушимо в своих устоях это общество исключительно с точки зрения самого Ньюленда. Начитанный, побывавший в Европе, прогрессивно мыслящий молодой человек не видит альтернативы там, где ее вполне разглядят «типичные представители» света. По сути дела, Ньюленд — подросток. Подростки очень консервативны: им кажется, что мир всегда был таким, каким они его застали, и всегда будет. Их бунт индивидуален, им не хватает мудрости присмотреться к переменам в других.

Ньюленд — «альтер эго» подростка Эдит, взиравшей на взрослый мир с отроческой дерзостью и самонадеянностью и осекшейся на первом же замечании: «Гостиные всегда хорошо убраны».

Можно прочесть «Эпоху невинности» как обличение нравов недавнего прошлого. Или как детски наивную и подростково беспощадную повесть о мире взрослых. Или как ностальгическую реконструкцию, которую увидел в романе Уолтер Берри. Или вовсе отнести «Эпоху невинности» к женским любовным романам. Ведь превратились «Унесенные ветром» из исторического исследования в поджанр любовного чтива («Скарлетт»), и кино здесь сыграло свою роль, как и в судьбе «Эпохи невинности» — экранизация (вернее — римейк фильма 1934 года) Мартина Скорсезе.

Эту книгу можно прочесть несколько раз — и по-разному. В любом случае это прекрасная проза.

После «Эпохи невинности» Эдит Уортон написала еще несколько романов — хороших, хотя и не столь популярных, много рассказов и очерков. Она продолжала профессионально работать, выпуская по книге в год. В 1934-м опубликовала воспоминания, в которых главным образом рассказывала о людях, с которыми ее сводила судьба. Продолжала путешествовать, и к ней приезжали многие: европейские и американские писатели — получить благословение; соотечественники, для которых посетить Эдит Уортон стало частью культурной программы «большого тура по Европе»; первые биографы.

Она умерла после краткой болезни в 1937 году, немислимо далеко от эпохи невинности.

В эпилоге «Эпохи невинности» речь заходит о новом поколении. Дети Ньюленда и Мэй живут в совершенно ином мире, и родителям не дано понять их. Но это такие же честные,

такие же добрые люди, более того — сын Ньюленда старается понять отца и быть ему другом. Ему кажется, что отец принес свою великую любовь в жертву обстоятельствам и устаревшим понятиям и новое поколение так бы не поступило, но молодой человек помнит и слова матери: «Вы всегда можете положиться на отца, потому что ради нас он пожертвовал самым дорогим».

Катастрофы XX века начались с разрыва поколений. С невозможности положиться на отца.

И теперь мы понимаем, что Эдит Уортон — из тех, кто скрепил позвонки двух столетий, христианское наследие XIX века и посттравматический XX век.

Л. СУММ

ЭПОХА НЕВИННОСТИ

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1

Январским вечером начала семидесятых Кристина Нильссон¹ пела в нью-йоркской Академии музыки в опере «Фауст».

Хоть уже шли толки о возведении бог знает где, за Сороковыми улицами, нового здания Оперы, призванно-го затмить роскошью и дороговизной великие оперные театры европейских столиц, нью-йоркский бомонд по-прежнему с удовольствием коротал вечера зимнего сезона среди потертого ало-золотого убранства лож доброй и такой приветливой Академии. Люди консервативные ценили ее зал за малые размеры и неудобство, что оберегало его от нашествия «новых людей», чьи фигуры, все более заметные в жизни города, теперь не только привлекали, но и вызывали у ньюйоркцев своего рода оторопь; людей чувствительных и сентиментальных привязывали к залу воспоминания, его богатая история и отличная акустика — качества, обычно так трудно достижимые в музыкальных театрах.

Это было первым выступлением мадам Нильссон в зимнем сезоне, и те, кого ежедневная пресса привыкла именовать «весь цвет Нью-Йорка», собрались послушать ее, преодолев скользкие заснеженные мили пути в собственных экипажах — небольших одноконных ли-

¹ Нильссон Кристина (1843—1921) — прославленная шведская певица — сопрано, в свое время считалась соперницей Адельны Патти. «Сомнамбула» (1831) — опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1801—1835). Патти Адела Мария (Аделина) (1843—1919) — знаменитая итальянская певица. *(Здесь и далее прим. перев.)*

бо вместительных семейных ландо, а кто и не столь помпезным, зато удобным образом «на «Браун-купе», в Брауновых наемных платных экипажах. Впрочем, приехать в Оперу «на Браун-купе» едва ли почиталось менее достойным, нежели прибыть туда в личном кабриолете, а уж уехать «на Браун-купе» давало прибегшему к такому способу передвижения (эдакой шутливой игре в демократизм) неоспоримое преимущество мгновенно влезть в первое же из стоявших в ряд общедоступных транспортных средств, не дожидаясь возле подъезда Академии явления там раскрасневшейся от холода и выпитого джина физиономии кучера. Безошибочная интуиция платных возчиков подсказала им догадку о том, что потребность американцев поскорее покинуть место увеселения превышает даже потребность на это увеселение попасть.

Ньюленд Арчер открыл дверь в глубине клубной ложи как раз в тот момент, когда поднявшийся занавес открывал глазам зрителей декорацию сцены в саду. Причины не приехать в театр пораньше у молодого человека, казалось бы, вовсе не было: отобедал он ровно в семь в обществе только матери и сестры, после чего помедлил еще, сидя с сигарой среди полированных книжных шкафов из черного орехового дерева и затейливых, увенчанных резным узором кресел в «готической библиотеке», единственной комнате, где миссис Арчер разрешала курить. Однако ведь Нью-Йорк — это прежде всего и в первую очередь крупный центр культуры, а хорошо известно, что в крупных центрах культуры приезжать в Оперу вовремя «не принято». Нью-Йорку Ньюленда Арчера умение разбираться в том, что «принято» и что «не принято», представлялось крайне важным, владение подобным знанием играло роль некоего тотемного божества из тех, кои тысячи лет назад тяготели над нашими предками, верша их судьбы, правя ими и повергая души в трепет и благоговение.

Вторая причина неспешности действий Ньюленда коренилась в особенностях его характера. Он медлил, куря сигару, потому что, строго говоря, был дилетантом,

а предвкушать удовольствие ему нередко доставляло радость более острую, нежели это удовольствие получать. Особенно это касалось удовольствий самого тонкого и изысканного свойства, какими и изобиловала жизнь Ньюленда. На этот раз удовольствие, которое он ожидал, виделось ему и вовсе несравненным, поэтому... словом, даже если б Ньюленд согласовывал время своего прибытия в Оперу с импресарио примадонны, он не мог бы войти в ложу более своевременно, чем в тот момент, когда мадам Нильссон пела: «Любит... не любит... ОН МЕНЯ ЛЮБИТ!», разбрасывая вокруг себя лепестки маргариток, которые падали на сцену, сопровождаемые звуками, чистыми, как роса.

Пела она, разумеется, не «меня любит», а «m'ama», так как согласно непререкаемому и неизменно действующему в музыкальном мире закону слова французских опер на немецкий сюжет для удобства англоязычной публики должны воспроизводиться шведскими певицами исключительно по-итальянски. Однако Ньюленду это казалось вполне естественным: еще одна условность, как и прочие условности, формирующие его быт, например, необходимость причесываться и делать пробор на голове, действуя двумя серебряными щетками с монограммой, выполненной в синей эмали, или же невозможность появиться в обществе без цветка (преимущественно гардении) в петлице. «M'ama... поp m'ama», — пела примадонна. С последним победным возгласом подтвержденной любви она, прижав к губам растерзанную маргаритку, устремила взор широко открытых глаз к лицу многоумного Фауста — Капуля¹, коротконового и нарумяненного, обряженного в тесноватый дублет красного бархата и в берете с пером на голове, коварно, но тщетно пытавшегося выглядеть столь же чистым и искренним, как его бесхитростная жертва.

Прислонившись к задней стенке ложи, Ньюленд Арчер оторвал взгляд от сцены и оглядел ложи напротив.

¹ Капуль Жозеф Амеде Виктор (1839–1924) — французский тенор.

Непосредственно перед ним находилась ложа престарелой миссис Мэнсон Мингот, чья чудовищная тучность давно уже препятствовала ее выездам в Оперу, но чьи молодые родственники неукоснительно присутствовали на всех модных сборищах в качестве ее представителей. На этот раз первый ряд кресел там занимали ее невестка миссис Ловел Мингот и дочь, миссис Уэлланд, а чуть дальше, позади этих затянутых в парчу матрон, сидела юная девушка в белом, чьи глаза выражали восторг и полную поглощенность действием. Когда «Mama» мадам Нильссон взвилось над притихшим залом (к сцене гадания на маргаритке разговоры в ложах всегда замолкали), щеки девушки вспыхнули жаркой волной, залившей их розовым до самого лба и корней белокурых кос и спустившейся к молодым округлостям груди под скромным вырезом, окаймленным тюлевой складкой с цветком гардении. Девушка опустила глаза к объемистому пучку ландышей у нее на коленях, и Ньюленд заметил, как руки ее в белых перчатках кончиками пальцев нежно поглаживают цветы. Со вздохом удовлетворенного тещавля он перевел взгляд на сцену.

На декорации не поскупились, и красоту их признавали даже те, кто, как и он, видели оперные спектакли в Париже и Вене. Авансцену до самой рампы покрывала изумрудно-зеленая материя. Средний план составляли симметричные, ограниченные дужками крокетных воротцев шерстистые холмики, изображавшие мох, а над ними высились кусты размером с апельсиновые деревья, но усеянные крупными цветками роз — алых и розовых. Из мха выглядывали огромные, больше роз, анютины глазки; они были похожи на цветастые перочистки, из тех, что дарят священникам их усердные прихожанки, а на розовых кустах там и сям мелькали маргаритки, по видимому, привитые к розам — как дальнейшее предвестие чудесных достижений мистера Лютера Бербанка¹.

¹ Бербанк Лютер (1849—1926) — известный американский натуралист и селекционер, выведший, в частности, кактус без колючек, сливу без косточки и популярный сорт картофеля.

В центре этого волшебного сада мадам Нильссон в белом платье из тонкой шерсти и бледно-голубого атласа, со свисающим с голубого ее пояска ридикулем и двумя длинными желтого цвета косами, симметрично расположенными по обе стороны муслиновой вставки, потупившись, внимала пылким признаниям мсье Капуля, изображая наивное непонимание истинных его намерений, совершенно очевидных и проявляемых как словесно, так и жестами, когда он недвусмысленно указывал на подслеповатое полуподвальное окошко чистенького кирпичного коттеджа, маячившего в правой кулисе.

«Милая! — мысленно воскликнул Ньюленд Арчер, вновь обратив взор на девушку с ландышами. — Она даже понятия не имеет, в чем там дело!» — Он глядел на сосредоточенное личико взглядом восхищенного собственника, в котором гордость своей мужской победой мешалась с нежным преклонением перед безмерной чистотой этого доверившегося ему создания. «Мы будем читать «Фауста» вместе... на итальянских озерах...» — думал он, мечтательно соединяя антураж уже предполагаемого им медового месяца с шедеврами литературной классики, который он, как мужчина, почтет за долг и честь преподать своей суженой. Еще несколько часов не прошло, как Мэй Уэлланд дала ему повод убедиться в том, что он ей «небезразличен» (кодовое обозначение, заменившее нью-йоркским девицам признание в любви), а его воображение уже неслось вскачь и, перепрыгивая стадии обручального кольца, поцелуя, сопровождающего клятву верности и марша из «Лоэнгрина», рисовало его и Мэй вместе на фоне каких-нибудь чарующих европейских пейзажей.

Меньше всего ему хотелось, чтобы в будущем новоявленная миссис Ньюленд выглядела наивной дурочкой. Он намеревался развить в ней (благодаря его таланту просветителя) социальное чутье и быстроту ума, позволяющие не ударить в грязь лицом, в сравнении даже с самыми известными из дам так называемого «молодого круга», иными словами, вращаясь в обществе, где обы-

чай требует от женщин принимать дань мужского внимания, в то же время кокетливо его отвергая. Попытавшись проникнуть в самую глубь собственного тщеславия (что изредка ему почти удавалось), он вынужден был бы признать, что хотел бы видеть жену такой же светски-искушенной и жаждущей нравиться, как та замужняя дама, чьи прелести пленяли его на протяжении двух довольно сумбурных лет; впрочем, даже намек на некую моральную зыбкость, всегда грозившую нарушить размеренность существования его незадачливого кумира и однажды чуть было не спутавшую собственные его планы и замыслы на зимний период, для своей жены он исключал.

Думать над тем, каким образом создать, а после сохранить и поддерживать в нашем жестоком мире столь чудесное единство льда и пламени, он не удосуживался. Он довольствовался самой идеей, не анализируя ее, поскольку знал, что идею эту разделяют с ним сонмища безукоризненно причесанных джентльменов в белых жилетах и с бутоньерками в петлице. Тех, кто один за другим появлялись сейчас в клубной ложе, дружески приветствовали его и, направляя бинокли на собравшихся в театре дам, рожденных в лоне общества и им воспитанных, критически их оглядывали. Что касается проблем интеллектуальных или же всего, связанного с искусством, тут Ньюленд Арчер чувствовал свое превосходство над этими избранными представителями исконной нью-йоркской знати: он и читал, надо думать, побольше, и размышлял побольше, а уж повидал в мире и подавно больше, чем каждый второй из них. Взятые по отдельности, они явно уступали ему, но все вместе и были тем, что называлось «весь Нью-Йорк», и мужская солидарность заставляла его принимать их взгляды и моральные оценки. Он нюхом чувствовал, что поступать иначе, отстаивая свою самостоятельность, хлопотно, да и не совсем «в стиле».

«Вот так сюрприз!» — воскликнул Лоренс Лефертс, внезапно отводя бинокль от сцены. В Нью-Йорке Лефертс считался первейшим экспертом и докой по части

стиля и приличий. Похоже, он посвятил этой хитрой и увлекательной области знания больше времени, нежели прочие. Но знания такого глубокого и всестороннего, такого свободного владения материалом исследования, какое демонстрировал он, одной лишь преданностью этой науке и прилежанием не добиться. Стоило только скользнуть взглядом по этой сухощавой, элегантной фигуре, увидеть ее всю — начиная с высокого, открытого, с залысынами, лба, красивого извива превосходных светлых усов и кончая длиннейшими ногами с лаковыми штиблетами, их завершающими, и всякому становилось ясно, что человеку, умеющему носить столь красивое платье так небрежно, а свой высокий рост с таким изяществом, чувство стиля и знание приличий даны от рождения. Как сказал однажды про Лефертса один из его почитателей: «Если уж кому доподлинно известно, в каких случаях черный галстук к смокингу носят, а в каких не носят, так только Ларри Лефертсу». И в битве бальных туфель против лакированных «оксфордов» суд Лефертса был непререкаем.

«Господи боже...» — произнес он, после чего молча передал свой бинокль старому Силлертону Джексону.

Ньюленд Арчер, проследив, куда устремлен взгляд Лефертса, с удивлением убедился, что чувства джентльмена всколыхнула вошедшая в ложу престарелой миссис Мингот новая персона. То была молодая, ростом чуть ниже Мэй Уэлланд, стройная женщина. Тугие завитки ее темно-русых волос прикрывали виски и были стянуты узкой полоской бриллиантовой диадемы — прическа, намекавшая на стиль а-ля Жозефина¹, то есть стиль ампир, что подтверждалось и покроем платья из синего бархата — эффектно перехваченное под самой грудью поясом, оно было украшено еще и крупной, старого фасона пряжкой на этом поясе. Дама, столь необычно одетая, казалось, совершенно не чувствуя обращенного на нее внимания,

¹ Жозефина Мари-Жозеф-Роз Богарне (1763—1814). С 1801 по 1809 год, будучи супругой Наполеона I Бонапарта, являлась императрицей Франции.

на секунду замешкалась, стоя посреди ложи и обсуждая с миссис Уэлланд возможность занять место впереди — в правом углу ложи, затем, улыбнувшись, отступила несколько вглубь и села так, чтобы не потревожить золовку миссис Уэлланд, миссис Ловел Мингот, сидевшую в углу противоположном.

Мистер Силлертон Джексон вернул бинокль Лоренсу Лефертсу, и взоры всех членов клуба инстинктивно обратились к старому джентльмену. Все замерли, ожидая его суждения, ибо мистер Джексон был таким же авторитетом по части родственных связей, коим являлся мистер Лефертс по части стиля и приличий. Мистеру Джексону были ведомы все хитросплетения нью-йоркских кланов и семейств; он мог не только пролить свет на такие важнейшие вопросы, как родство Минготов (через Торли) с южнокаролинскими Далласами или что связывает старшую ветвь филадельфийских Торли с Чиверсами из Олбани (которых ни в коем случае нельзя путать с Мэнсон-Чиверсами, что обитают на Университи-плейс), но мог и перечислить бытующие в каждом семействе характерные свойства, как то: баснословная скупость младших Лефертсов (тех, что с Лонг-Айленда) или же губительная склонность Рашвортов заключать глупейшие браки, или безумие, поражающее каждое второе поколение олбанских Чиверсов, из-за чего их нью-йоркские кузины отказывались вступать в брак с представителями этого семейства — закономерность, не знавшая исключений, не считая всем известного случая с бедняжкой Медорой Мэнсон, печальная участь которой... впрочем, по матери она была из Рашвортов.

Вдобавок к этой непролазной чащобе родословных древ голова мистера Силлертона Джексона между впадин узких висков и под мягкой кровлей серебряной его шевелюры хранила реестр самых важных скандалов и тайн, все последние пятьдесят лет тихо тлевших или бурливших под внешне невозмутимой поверхностью нью-йоркского света. Так далеко простиралась его осведомленность и такой цепкой оставалась память, что он

считался единственным, кто мог бы раскрыть всю подноготную банкира Джулиуса Бофорта или поведать, что случилось с красавцем Бобом Спайсером, отцом престарелой миссис Мэнсон Мингот, так таинственно исчезнувшим (с порядочной суммой доверенных ему денег) менее чем через год после женитьбы, но ровно в тот день, когда восхитительной красоты испанская танцовщица, которой рукоплескали толпы в старом здании Оперы на Бэттери, отплыла на Кубу. Но все эти тайны, как и масса других, были накрепко заперты в душе мистера Джексона, ибо распространять что-либо, узнанное в частном порядке, не позволял ему не только долг чести, особо остро им осознаваемый, но и полное понимание того, что репутация человека сдержанного и благовоспитанного дает ему дополнительные возможности узнавать все, что его интересует.

Таким образом, клубная ложа замерла в напряженном ожидании, пока мистер Силлerton Джексон возвращал бинокль Лоренсу Лефертсу. Прошло еще мгновение. Старик помолчал, потом тусклые, с поволокой глаза под набрякшими, в старческих жилках веками оглядели внимающих ему завсегдатаев клубной ложи, и, задумчиво крутанув ус, старик изрек только одну фразу: «Вот уж не думал, что Минготы отважатся на такое!»

ГЛАВА 2

Этот краткий эпизод поверг Ньюленда Арчера в странное замешательство. Надо ж было случиться, чтобы безраздельное внимание мужской части всего Нью-Йорка привлекла именно эта ложа, ложа, где между матерью и теткой сидела его невеста! Кто эта дама в платье стиля ампир, он понял не сразу и первые минуты не мог взять в толк, почему ее присутствие в театре вызвало такое возбуждение у людей, видимо, посвященных в некую тайну. Но затем его вдруг осенило, туман рассеялся, и в тот же миг Арчера накрыла волна негодования. Поистине, кто бы мог подумать, что Минготы на такое отважатся!

Но отважились же, и это несомненно, поскольку приглушенные шепотки за его спиной не оставляли сомнения в том, что молодая дама в ложе — это кузина Мэй Уэлланд, та самая, которая в семействе упоминалась не иначе как «бедная Эллен Оленска». Арчеру было известно, что эта дама внезапно, за день-два до описываемых событий, прибыла из Европы. Знал он также от самой мисс Уэлланд (и поведала она ему это без малейших признаков неудовольствия), что ей предстоит встреча с кузиной, остановившейся у миссис Мингот.

Арчер всецело одобрял солидарность семьи — одним из свойств Минготов, особенно им ценимых, была решительная поддержка, которую они оказывали немногим заблудшим овцам их в целом безупречного семейного стада. В сердце юноши не было злобы, и, как человек широкий и великодушный, он был только рад, что его будущая жена не страдает ханжеством, почему и сможет беспрекословно (не афишируя это) проявлять доброту и участливость по отношению к незадачливой кузине, однако принимать графиню Оленска в семейном кругу совсем не то, что демонстрировать ее на публике, и не где-нибудь, а в Опере, да еще в ложе рядом с девушкой, помолвка которой с ним, Ньюлендом Арчером, должна быть объявлена буквально через несколько недель! Нет! Он может подписаться под словами Силлертон Джексона, он тоже не думал, что Минготы отважатся на такое!

Он знал, что вся доступная человеку мера дерзости (в пределах, установленных Пятой авеню) доступна и может быть использована престарелой миссис Мэнсон Мингот, матриархом рода. Он испытывал неизменное восхищение этой благородной и могущественной леди, которая, будучи от рождения всего лишь Кэтрин Спайсер со Стейтен-Айленда, дочерью человека, запятнавшего себя какой-то темной историей, и не имея поначалу ни денег, ни знакомств, чтобы заставить свет забыть об этом грустном обстоятельстве, сумела связать свою жизнь с главой богатейшего клана Минготов, выдать двух своих дочерей замуж за «иностранцев» (одну —

за итальянского маркиза, другую — за банкира-англичанина) и увенчать ряд столь дерзких выходов строительством солидного дома из бледно-кремового камня (и это в то время, когда бурый песчаник почитался единственно возможным из строительных материалов, таким же обязательным, как фрак по вечерам), умудрившись воздвигнуть его в совершенно диком и девственном месте над Центральным парком.

Заграничные дочери престарелой миссис Мингот превратились в легенду. Повидаться с матерью они не приезжали, а та, как и многие волевые и быстрые умом люди, обладавшая основательностью и устойчивостью привычек, философически решила оставаться на родине. Но кремового цвета дом ее (по-видимому, спроектированный по образцу особняков парижской аристократии) служил наглядным доказательством ее нравственной стойкости и храбрости: она царила в нем, окруженная дореволюционной мебелью и безделушками из Тюильрийского дворца Луи-Наполеона (где она блистала в ее уже немолодые годы), царила с такой спокойной уверенностью, будто не было ничего необычного в том, что жила она за Тридцать четвертой стрит в доме не с подъемными, а с французскими окнами в пол.

Все (включая и Силлертон Джексона) были согласны в том, что престарелая Кэтрин никогда не обладала красотой — даром, который, по мнению Нью-Йорка, оправдывает всякий успех, искупая и ряд прегрешений. Люди недобрые утверждали, что, подобно своей венценосной тезке, она пробила себе путь к успеху в обществе исключительно силой воли и жестокосердием¹, а также своеобразным горделивым бесстыдством, в свою очередь искупаемым строгим достоинством и совершенной благопристойностью ее частной жизни.

Мистер Мэнсон Мингот скончался, когда жене его было всего лишь двадцать восемь лет. Средства свои

¹ Автор, скорее всего, имеет в виду Екатерину II Великую (1729—1796), свергшую с российского престола своего мужа, императора Петра III, и воцарившуюся вместо него.

он в значительной степени «заморозил» с прижимистостью, еще и усиленной той опаской, которую повсеместно вызывали Спайсеры. Но храбрая молодая вдова, бесстрашно ринувшись в атаку, стала гнуть свою линию: она втерлась в общество иностранцев и, возвращаясь в нем, сумела внедрить туда и своих дочерей, найдя им мужей бог знает где, в кругах самых модных и самых развращенных; она приятельствовала с послами и герцогами, была накоротке с папистами, принимала у себя оперных певцов, являлась задушевной подругой мадам Тальони¹, и все это время репутация ее (о чем не преминул первым возвестить мистер Силлертон Джексон) нимало не страдала, всегда оставаясь незапятнанной, и имя миссис Мэнсон Мингот, в отличие от имени другой Екатерины, ее тезки и предшественницы (как не забывал добавить мистер Джексон), вызывало только уважение. Она давно уже «разморозила» средства мужа и, успешно пользуясь оставленным ей наследством, лет пятьдесят как проживала в полном довольстве и изобилии, но воспоминания о невзгодах ранних лет сделали ее излишне бережливой, и, хотя, покупая себе новый наряд или что-нибудь из мебели, она и старалась, чтобы вещь эта была наилучшего качества, заставить себя тратить деньги на столь преходящее удовольствие, как вкусная еда, она не могла. Поэтому, пусть и по иным причинам, но трапезы в ее доме бывали столь же скудны, как и в доме миссис Арчер, а подаваемые к столу вина ничем не могли эту скудость скрасить. Родственники ее считали, что бедность ее стола позорит род Минготов, чья фамилия всегда ассоциировалась с достатком; но, несмотря на разогретую еду и выдохшееся шампанское, гости валом валили к ней в дом, а на упреки ее сына Ловела (который, стараясь восстановить в этом смысле честь семьи, держал у себя лучшего в Нью-Йорке повара) она обычно отвечала со смехом: «Зачем иметь в одном семействе двух хороших поваров, если доче-

¹ Тальони Мари Софи (1804–1884) – итальянская танцовщица, имевшая огромный успех в Европе.

рей я замуж выдала, а соусы мне теперь противопоказаны?»

Размышляя обо всем этом, Ньюленд Арчер опять обратил взгляд в ложу напротив. Он увидел, что и миссис Уэлланд, и ее свойственница воспринимают сомкнутый полукруг критики и неодобрения с тем поистине минготским *апломбом*, который престарелая Кэтрин сумела воспитать в членах своего клана, и только одна Мэй Уэлланд, чьи щеки заливала краска (возможно, и оттого, что она чувствовала на себе его взгляд), должно быть, ощущает всю серьезность ситуации. Что же до виновницы всеобщего смятения, то она сидела в своем уголке в изящной позе, не отводя глаз от сцены и демонстрируя, когда наклонялась вперед, чуть больше плечей и груди, чем привык наблюдать Нью-Йорк, по крайней мере, у дам, имеющих причины и желание оставаться в тени.

Мало что на свете претило Ньюленду Арчеру сильнее, чем погрешности против *Вкуса*, этого далекого труднодоступного божества, для которого *Стиль* являлся всего лишь посланцем и представителем. Бледность и серьезность лица мадам Оленска нравились Ньюленду и казались ему вполне приличествующими ситуации, но то, как свободно, без каких-либо хитрых складок или рюшей, ниспадало с тонких плеч ее платье, у Ньюленда вызывало беспокойство и даже его шокировало. Возмущала сама мысль о том, что Мэй Уэлланд может подвергнуться влиянию женщины, столь бесчувственной к велениям *Вкуса*!

— А в чем, собственно, дело? — слышалось за его спиной. Говорил кто-то из молодых людей. (Во время сцен Мефистофеля и Марты в публике не стихал шум разговоров.) — Что такого *особенного* произошло?

— Ну... она его бросила. Это общеизвестно.

— Но он же, кажется, жуткая скотина, разве не так? — недоуменно продолжал все тот же молодой человек, прямодушный Торли, видимо, готовый первым ринуться на защиту дамы.

— Хуже не бывает. Я встречал его в Ницце, — веско заметил Лоренс Лефертс. — Бледная немочь, еле двига-

ется, а все туда же — улыбается с эдакой ехидцей. Лицо, правда, красивое, только глаз за ресницами не видно. Похоже, он из тех мужчин, которые если не женщин, то фарфор коллекционируют и, кажется, готовы платить любую цену — как за одно, так и за другое.

Все посмеялись, а молодой рыцарь промямлил:

— Ну... в таком случае...

— В таком случае она и сбежала с его секретарем.

— О-о, ясно... — Лицо у рыцаря вытянулось.

— Но длилось все недолго. Я слышал, что и нескольких месяцев не прошло, как она очутилась в Венеции одна-одинешенька. Говорят, Ловел Мингот специально отправился в Европу, чтобы вызволить ее оттуда. По его словам, она была ужасно несчастна. Все бы ничего, но выставлять ее напоказ перед публикой в Опере — это уж слишком.

— Может быть, — рискнул парировать молодой Торли, — несчастную женщину им просто не хотелось оставлять дома одну...

Слова его были встречены смехом, лишенным и тени уважения к собеседнику, и юноша, густо покраснев, попытался представить дело так, будто он лишь намекнул на возможность того, что в кругах просвещенных зовется «double entendre»¹, так сказать, возможность двойной трактовки ситуации.

— Но привозить сюда и мисс Уэлланд — поступок, так или иначе, странный, — негромко сказал кто-то, искоса взглянув на Арчера.

— О, это часть заранее спланированной акции! — Лефертс хохотнул: — Значит, бабушка так распорядилась. Когда старушка что-то затевает, она продумывает все до мельчайших деталей.

Намечался антракт, ложа зашевелилась, и Ньюленд Арчер внезапно ощутил настойчивую потребность в решительном действии: ему захотелось первым из мужчин появиться в ложе миссис Мингот, чтобы замерший

¹ Double entendre (*фр.*) — понимать двояко.

в ожидании мир узнал о его помолвке с Мэй Уэлланд, захотелось разделить с ней все тяготы, которыми грозило осложнить ее жизнь экстравагантное поведение кузины. Обуявший Арчера порыв был так силен, что превозмог все его сомнения и колебания, заставив поспешить по ало-бархатным коридорам на другую сторону зала, к ложе напротив.

Едва войдя в ложу и встретив взгляд мисс Уэлланд, он увидел, что она понимает его намерение, но семейная гордость — достоинство, так ценимое ими обоими, не позволит ей выразить это словесно. Однако в их мире с его атмосферой намеков и бледных, тонких, как тень, иносказаний, тот факт, что двое поняли друг друга без слов, являлся залогом связи более крепкой и тесной, чем связь, даруемая объяснением. Ее глаза сказали: «Видишь сам, зачем мама привезла меня сюда», а его глаза ответили: «Я и помыслить не мог, что не увижу тебя сейчас здесь!»

— Вы ведь знакомы с моей племянницей, графиней Оленска? — спросила миссис Уэлланд, пожимая руку будущему зятю.

Арчер склонился в поклоне, но, как было принято при представлении дамам, рукопожатием с графиней не обменялся, и Элен Оленска лишь слегка наклонила голову, не размыкая рук в светлых перчатках и по-прежнему сжимая ими гигантский веер из перьев орла. Поздоровавшись с миссис Ловел Мингот, полной, поскрипывавшей шелками блондинкой, он сел рядом с невестой и, понизив голос, сказал ей:

— Надеюсь, вы сообщили мадам Оленска, что мы с вами обручены? Я хочу, чтоб все это знали, и прошу разрешения мне объявить об этом сегодня же вечером на балу.

Лицо мисс Уэлланд зарделось розовым цветом зари, в глазах просияла радость:

— Если только вам удастся убедить маму, — проговорила она, — но зачем менять уже принятые сроки? — И, прочтя ответ в его глазах и улыбке, тоже улыбнувшись, но уже смелее, она добавила: — А кухне сообщите

сами, разрешаю. Она говорит, что в детстве вы играли вместе.

Девушка отодвинула стул, давая ему пройти. Движением быстрым и несколько вызывающим, словно ему хотелось, чтобы весь зал увидел, что он собирается сделать, Арчер опустил на стул рядом с графиней Оленска.

— Ведь мы *играли* вместе, правда же? — сказала она. — Вы были ужасно озорным мальчиком и однажды поцеловали меня за дверью, но влюблена-то я была в вашего кузена Венди Ньюленда, который на меня и не глядел. — Она задумчиво обвела взглядом подкову лож: — Ах, как все здесь возвращает меня назад, в прошлое! Так и видишь всех собравшихся здесь в бриджах или штанишках до колен! — проговорила она нараспев с легким иностранным акцентом, после чего обратила взгляд к нему.

И хотя в словах ее не было ничего шокирующего, молодого человека они больно задели: так не соответствовала нарисованная картина членам высокого трибунала, вершившим в эти мгновения свой суд над нею. Что может быть безвкуснее столь неуместного легкомыслия! И потому ответом ей было лишь натянуто-чопорное:

— Да, вас не было здесь очень долго.

— Безумно долго, сотни и сотни лет, — отозвалась она, — так долго, что кажется, будто я умерла, меня похоронили, а этот милый знакомый театр — это рай.

Такая непочтительная по отношению к нью-йоркскому обществу метафора шокировала Ньюленда Арчера еще больше.

ГЛАВА 3

Все шло как по нотам.

В вечера, когда миссис Джулиус Бофорт давала свой ежегодный бал, она неукоснительно появлялась в Опере; вернее сказать, она приурочивала эти балы к оперным премьерам, чтобы подчеркнуть свое пренебрежение низменными хозяйственными хлопотами и уверенность в том, что штат ее прислуги таков, что сумеет

организовать празднество, предусмотрев все малейшие детали, без нее и в ее отсутствие.

Дом Бофорт был одним из немногих нью-йоркских домов, обладавших бальной залой (чем превосходил даже дома миссис Мэнсон Мингот и Хедли Чиверсов), а в эпоху, когда только-только начало распространяться представление о «провинциальности» практики перетаскивания мебели наверх, учиняя разгром в гостиной и царапая в ней пол, иметь отдельное помещение, используемое исключительно для балов и триста шестьдесят четыре дня в году простаивающее во мраке за закрытыми ставнями, с грудой позолоченных стульев в углу и зачехленной люстрой, было несомненным преимуществом, воспринимаемым как компенсация за все достойное сожаления, что было в прошлом Бофорта.

Миссис Арчер, любившая чеканить свои философические афоризмы и пускать их в обращение в качестве аксиом, однажды заявила: «У всех у нас есть свои любимцы из числа простолюдинов». Несмотря на дерзость подобного высказывания, оно было признано справедливым и, встреченное сочувствием многих знатных особ, нашло себе тайный приют в их высокородной груди. «Простолюдинами», по сути, Бофорты не являлись, однако находились люди, считавшие их даже хуже простолюдинов. И это при том, что миссис Бофорт принадлежала к одному из самых почитаемых в Америке семейств, происходя из южнокаролинской ветви этого семейства, и звалась некогда прелестной Региной Даллас. Красотку Регины, не имевшую к тому времени ни гроша за душой, ввела в нью-йоркский свет ее родственница, безрассудная Медора Мэнсон, всегда ухитрявшаяся употребить во зло самые добрые намерения и побуждения. Впрочем, всякий состоявший в родстве с Мэнсонами и Рашвортами получал в нью-йоркском обществе право на гражданство, «*droit de cité*» (как называл это мистер Силлертон Джексон, в свое время частый гость Тюильрийского дворца). Но не терял ли такое право всякий, вступающий в брак с Джулиусом Бофортом?

Вопрос заключался в том, кто такой Бофорт? Считался он вроде бы англичанином — человек приличный, обходительный, красивый, порою вспыльчив, но гостеприимен и остроумен. Прибыл в Америку с рекомендательными письмами от зятя престарелой миссис Мэнсон Мингот, английского банкира, и очень скоро занял видное положение в деловых кругах, однако жизнь он вел рассеянную, разгульную, юмор его отдавал сарказмом, а кто его предки — так и оставалось тайной; вот почему, когда Медора Мэнсон объявила о помолвке с ним ее родственницы, это было воспринято как очередное сумасбродство в длинном перечне сумасбродств безрасудной Медоры.

Но последствия сумасбродств, бывает, их оправдывают, оборачиваясь мудростью, и происходит это не реже, чем подтверждают мудрость мудрых поступков их мудрые последствия. После двух лет ее брака дом молодой миссис Бофорт был признан самым блистательным и изысканным домом Нью-Йорка. Никто не понимал, как свершилось подобное чудо. Женщина, казавшаяся такой ленивой и праздной, безразличной, вялой, злые языки называли ее скучной и попросту глупой, внезапно преображается — разряженная, как принцесса, увешанная жемчугами, день ото дня молодея и хорошея, она царит в солидном, выстроенном из тяжелого темного камня дворце мистера Бофорта и манит к себе во дворец толпы гостей, не предпринимая никаких усилий, не пошевелив ни единым пальчиком в бриллиантах! Люди осведомленные поговаривали, что это сам Бофорт школит прислугу, учит рецептам новых блюд повара, указывает садовникам, какие цветы он будет высаживать в оранжерее — те будут для гостиных, эти — для столовой, что он сам приглашает гостей, сам готовит послеобеденный пунш и диктует жене текст записок ее подругам. Если это было и так, то этого никто не наблюдал, миру же Бофорт являлся в облике беззаботного и гостеприимного миллионера, входившего в собственную гостиную с отстраненным и безучастным видом гостя и словами: «Глоксинии

моей жены — настоящее чудо, не правда ли? По-моему, ей их доставили прямо из Кью»¹.

Секрет мистера Бофорта, и в этом согласны были все, заключался в его выдержке. Можно было втихомолку сплетничать о том, что покинуть Англию «ему помогли», и сделал это международный банк, где он дотоле служил, мистер Бофорт сносил этот слух с легкостью, как и все прочие слухи, при том, что в деловых кругах Нью-Йорка общественное мнение столь же чувствительно и подвержено колебаниям, как и принципы морали. Бофорт мог выдержать что угодно, включая всегдашний наплыв посетителей в его гостиных, и вот уже более двадцати лет нью-йоркцы объявляли, что «идут к Бофортам», так же решительно и без стеснения, как если бы они направлялись в дом миссис Мэнсон Мингот, и даже с большим удовольствием, ибо знали, что за столом у Бофортов их станут потчевать не покупными филладельфийскими крокетами и тепловатым шампанским «Вдова Клико» неизвестного года, а вкуснейшей, с пылу с жару утятинной отменных уток-нырков и винтажными винами.

И вот миссис Бофорт, как обычно, возникла в своей ложе непосредственно перед арией Маргариты с драгоценностями, а когда, опять-таки, как обычно, она в конце третьего акта, обернув накидкой роскошные плечи, исчезла, для Нью-Йорка это был знак, что бал начнется через полчаса.

Дом Бофортов был из тех домов, которых ньюйоркцы с гордостью показывают иностранцам. Одними из первых хозяева его обзавелись собственной красной бархатной дорожкой, которую их собственные лакеи раскатывали по ступеням крыльца и под навесом, также собственным, а не взятым напрокат, в придачу к ужи-ну и стульям в зале. К тому же именно Бофорты ввели в обиход правило, согласно которому дамам следовало, войдя, снимать верхнюю одежду в холле, вместо того чтобы одетыми тяжело подниматься по лестнице

¹ То есть из Кью-Гарденс, старинного и знаменитого ботанического сада в Лондоне.

в спальню хозяйки и там, раздевшись, еще с помощью газовой горелки подправлять себе локоны. Таким нововведением Бофорт молча давал понять, что не допускает даже мысли об отсутствии у приятельниц жены горничных, в чьи обязанности входит забота о безукоризненности причесок своих хозяек, когда те выходят в свет.

Бальная зала была предусмотрена смелыми архитекторами дома еще на стадии проекта и располагалась так, чтобы, направляясь туда, гость не протискивался по узкому коридору (как это было у Чиверсов), а шествовал гордо и свободно сквозь анфиладу гостиных (цвета морской волны, малиновой и светло-желтой, цвета лютика), видя еще издали, как обилие свечей в люстрах отражается сиянием натертого до блеска паркета, а за анфиладой — темная глубь зимнего сада, где камелии и гигантские древовидные папоротники простирают зелень своих ветвей, смыкаясь аркой весьма дорогостоящего шатра над козетками из бамбука — зеленого и золотистого.

Ньюленд Арчер, как и подобало юноше его положения, не спешил и с приходом на бал несколько припозднился. Препоручив свое пальто лакеям в шелковых чулках (такие чулки на прислуге были в числе тех немногих глупых слабостей, которые позволял себе Бофорт), он помедлил, задержавшись в отделанной испанской кожей и малахитом библиотеке, с мебелью в стиле буль, где шла оживленная беседа в группе мужчин, натягивавших бальные перчатки; пробыв там минуту-другую, Арчер присоединился к цепочке гостей, которых на пороге малиновой гостиной встречала миссис Бофорт.

Он заметно нервничал. В клуб после Оперы, как было заведено у молодежи, он не поехал и, так как вечер был тихий и погода прекрасная, решил прогуляться по нижней части Пятой авеню и только потом, вернувшись назад, направиться к дому Бофортов. Он всерьез опасался, что Минготы и впрямь зашли так далеко, что, повинувшись бабке, могут притащить графиню Оленска и на бал. По тону разговоров в клубной ложе он понял, какой непо-

правимой ошибкой это бы оказалось, и при всем его желании «разделить все тяготы» с невестой, притом, что решимость сделать это лишь крепла в нем и теперь была крепка, как никогда, рыцарские чувства по отношению к кузине Оленска после краткого общения с ней в Опере у Арчера несколько ослабли.

Добредя до «лютиковой гостиной», на одну из стен которой Бофорт имел смелость поместить «Любовь-победительницу», весьма сомнительную и вызвавшую шквал критики картину Бугро¹ с изображением голой женщины, Арчер увидел миссис Уэлланд с дочерью, стоявших возле входа в бальную залу. А за ними в зале по паркету уже скользили пары, и свет восковых свечей, падая, освещал кружевные тюлевые юбки, скромные веночки на головах юных девиц, султаны из перьев и эгретки молодых замужних дам, жестко накрахмаленные, сверкающие глянцем манишки кавалеров и свежайшие, снежно-белые перчатки.

Мисс Уэлланд с букетом все тех же ландышей (другим букетом она не обзавелась) переминалась с ноги на ногу, стоя почти в дверях, видимо, готовая тоже пуститься в пляс. Она была бледна, но глаза ее горели искренним воодушевлением. К ней теснились какие-то юноши и девицы, смеялись, шутили, пожимали ей руки. В эту веселую кутерьму вносила лепту и миссис Уэлланд: она держалась чуть поодаль, но метала в толпу молодежи лучики умеренно одобрительных взглядов. Ясно было, что мисс Уэлланд как раз в эти мгновения объявляет о своей помолвке, а ее мать изображает холодноватую отстраненность, должную, по ее мнению, означать приличествующие случаю озабоченность и естественную родительскую ревность.

Арчер медлил. Он испытывал нетерпеливое желание дать знать об их помолвке хоть всему миру, но объявлять о ней *так* ему не хотелось. Объявлять о столь радостном событии в шуме и горячке бала, в суতোлке веселящейся

¹ Бугро Вильям Адольф (1825–1905) – французский художник, мастер так называемой салонной живописи.

толпы значило бы лишить это событие аромата интимности, столь важной в сердечных делах. Правда, радость его была так глубока и сокровенна, что никакая слабая, внешняя рябь на ее поверхности не могла омрачить и исказить ее сути, по существу, ее даже не затрагивая, и все же он бы предпочел, чтобы и поверхностно, внешне радость его оставалась чистой. Некоторым утешением было сознавать, что Мэй понимает это его чувство и разделяет его с ним. Она глядела на него с мольбой, как бы говоря взглядом: «Помни одно: мы делаем это потому, что так надо».

Никакая другая мольба не проникла бы в сердце Арчера столь стремительно, не нашла бы в нем такого отклика, и все же он желал, чтобы необходимость решительного действия была бы продиктована причиной более возвышенной и благородной, чем просто появление этой несчастной Эллен Оленска. Группа, окружавшая мисс Уэлланд, теперь двинулась к ним, и, приняв причитающуюся ему долю поздравлений, он увлек свою суженую на середину залы и обнял ее талию.

— Вот. Теперь и говорить не надо, — сказал он, с улыбкой глядя в ясные, невинные глаза девушки, плывя с ней по нежным волнам «Голубого Дуная».

Она не ответила. Губы ее дрогнули в улыбке, но глаза остались серьезными, а взгляд рассеянным, словно устремленным к чему-то далекому и несказанно прекрасному.

— Милая, — шепнул Арчер, прижимая ее к себе: он вдруг понял, что первые часы помолвки таят в себе нечто очень важное, святое. Как должна будет обновиться его жизнь рядом с этим светлым, добрым, лучезарным созданием!

Когда танец завершился, они, как и подобало обручившейся паре, уединились в зимнем саду, спрятавшись под покровом древовидных папоротников и камелий. Ньюленд прижал к губам ее руку в перчатке.

— Видите, я сделала все, как вы хотели, — сказала она.

— Да, мне не терпелось. — Он улыбнулся.

— Я знаю. — Глаза их встретились. В ее взгляде он прочел понимание. — Но ведь и здесь мы как будто одни и наедине, правда же?

— О, дорогая... так будет всегда-всегда! — вскричал Арчер.

Кажется, она и впрямь всегда все поймет и каждым своим словом попадет в точку! Это открытие переполнило его блаженной радостью, и с веселой бесшабашностью он произнес:

— Самое ужасное, что мне хочется вас поцеловать, а нельзя!

Говоря это, Арчер шарил взглядом вокруг и, убедившись, что поблизости никого нет, он притиснул ее к себе и коснулся ее губ легким поцелуем. И тут же, будто желая уравновесить дерзость своего поступка, он увлек ее в менее уединенную часть сада, где, сев рядом с ней на бамбуковую козетку, вытянул из ее букета и взял себе веточку ландыша.

— Вы сказали моей кузине Эллен? — вдруг спросила она, словно очнувшись.

Он встрепенулся, вспомнив, что так и не сделал обещанного. Сама мысль о необходимости поделиться сокровенным с этой чужой женщиной, иностранкой, вызывала неодолимое отторжение, отталкивала, не давала произнести нужные слова.

— Нет, так и не представилось случая, — с ходу соврал он.

— О-о... — разочарованно протянула она, но тут же оправилась и мягко продолжала: — И все-таки вам надо это сделать, потому что я ведь тоже не сказала, а я не хочу, чтоб она подумала...

— Ну конечно, конечно! Но разве не от вас это должно было бы исходить?

Она помолчала, обдумывая ответ.

— Если б я сделала это вовремя, тогда, разумеется, но теперь произошла заминка, и мне кажется, что вам стоит объяснить ей, что я просила вас сказать ей об этом раньше, в Опере, еще до того, как мы объявили это всем.

А не то она может решить, что я к ней не проявила внимания, забыла о ней. Она ведь, знаете, член нашей семьи и так долго отсутствовала... что стала такая... как бы это сказать... ранимая, что ли...

Арчер так и просиял:

— Дорогая! Ангел мой! Ну конечно же, я ей все объясню! — Он с некоторой опаской кинул взгляд в сторону переполненной залы. — Но я еще не видел ее. Она здесь?

— Нет. В последнюю минуту она отказалась поехать.

— В последнюю минуту? — эхом отозвался он, невольно выдавая вопросительной интонацией свое удивление тем, что девушка могла даже вообразить, будто была возможность и иного решения.

— Да. А ведь она так любит танцы! — простодушно продолжала Мэй. — Но ей вдруг взбрело в голову, что платье ее недостаточно хорошо для бала, хотя нам платье очень нравилось. Так что тетушке пришлось отвезти ее домой.

— Ну что ж... — только и произнес Арчер, с облегчением разыгрывая равнодушие. Его особенно восхищало в невесте ее мастерское, доведенное до совершенства умение всегда, если только можно, обходить острые углы, избегая всего «неприятного», — искусство, которому они оба обучались с детства.

«А ведь ей не хуже моего известна, — мысленно рассуждал он, — истинная причина отказа кузины ехать на бал, но ни за что на свете я не покажу Мэй, что знаю о темном пятне на репутации бедняжки Эллен Оленска и что мне это безразлично».

ГЛАВА 4

На следующий день были сделаны первые из положенных после помолвки визитов. Ритуал этих визитов в Нью-Йорке был незыблем и соблюдался со всею строгостью и неукоснительностью. Согласно данному ритуалу начинать серию визитов надлежало Ньюленду Арчеру, почему он вместе с матерью и сестрой сначала нанес

ли визит миссис Уэлланд, после чего он, миссис Уэлланд и Мэй отправились к престарелой миссис Мэнсон Мингот, чтобы испросить благословения у этой почтенной прародительницы и главы клана.

Визит к миссис Мэнсон Мингот юношу всегда чрезвычайно занимал. Даже сам ее дом и тот был реликвией, хотя и не столь исторически ценной, как некоторые другие старинные фамильные гнезда, что расположены на Университи-Плейс или в нижней части Пятой авеню. Те являлись хранителями чистейшего стиля 1830-х годов и строго блюли в своих интерьерах гармонию этого стиля с его коврами, украшенными орнаментами из жирных, похожих на капустные кочаны роз, овальной формы каминов с полками из черного мрамора, необъятных размеров застекленных книжных шкафов и консолей из красного дерева; ну а миссис Мингот выстроила свой дом позже и, скинув с себя тяготы ранних лет, вместе с ними выкинула и тяжелую мебель первоначальной поры своей жизни. Освободившись, таким образом, в том числе и буквально, от груза всего отжившего и подмешав в фамильное достояние Мингота толику фривольности Второй империи, она расцветила убранство дома веселыми обоями и драпри и, по излюбленной своей привычке, села у окна гостиной на первом этаже, наблюдая за течением времени и моды и словно ожидая, когда этот поток переменит направление и устремится на север, к ее одинокой двери. Она не торопила события, ибо терпения ей было не занимать, равно как и уверенности. Она знала, что рано или поздно все эти заборы вокруг строительных площадок, ямы и карьеры, одноэтажные салуны, деревянные теплицы в неряшливых неухоженных садах, все эти холмы и горы с пасущимися на них и взирающими с высоты козами исчезнут, уступив место домам, величавостью своею подобным ее дому («Или даже еще величавее», — думала она, будучи женщиной беспристрастной); она знала, что булыжные мостовые, по которым с грохотом и дребезжанием, подсакивая на неровностях, едут омнибусы, будут переложены — мосто-

вые покроют гладким асфальтом, какой видели посещавшие Париж, а до той поры она (как и каждый из нас) всячески старалась, чтобы посещали *ее*, и надо сказать, что в умении наполнить дом гостями она не уступала Бофортам, притом что ухитрялась делать это, не добавляя ни единого блюда в меню своих ужинов.

Постигшее ее на середине жизненного пути несчастье — непомерное умножение и буйное разрастание плоти — обрушилось на нее подобно извержению вулкана, заливающего потоком лавы обреченный град, превратив эту небольшую и крайне энергичную женщину, пухленькую, но со стройными ногами — изящными лодыжками и высоким подъемом стопы, — в настоящего монстра, монументальностью своею вызывающего нечто вроде оторопи и благоговейного трепета, какой испытываешь, увидев чудо природы. Несчастье это она восприняла ровно с тем же философическим спокойствием, с каким воспринимала и прочие ниспосланные ей испытания, и теперь, будучи уже в преклонных годах, была вознаграждена за это спокойствие возможностью видеть в зеркале свое отражение: огромную и плотную, почти без морщин, бело-розовую массу, посреди которой обозначалось то, что было некогда лицом, маленькое, оно словно ожидало момента, когда его извлекут из-под завала. Гладкие уступы двойных подбородков вели вниз, в туманную даль все еще белой, как снег, груди, скрытой под ворохом белых шелков, скрепленных миниатюрным портретом покойного мистера Мингота и обрамленных с боков и внизу черным шелком, волны которого перелестывали через парапет вместительного кресла и качали на своей поверхности двух чаек — крохотные белые ручки миссис Мингот.

Груз разросшейся плоти давно уже воспретил своей обладательнице спускаться и подниматься по лестницам, и со свойственной ей независимостью и бесцеремонностью она переместила на первый этаж как комнаты для приемов, так и личные свои покои (что было, конечно, вопиющим нарушением всех соблюдаемых Нью-Йорком

правил), и потому, сидя с ней возле окна гостиной на первом этаже, ты мог невзначай увидеть (сквозь вечно распахнутую дверь с отведенной в сторону портьерой из желтого дамаста) спальню хозяйки: гигантских размеров низкую кровать, убранную роскошно, под стать дивану, туалетный стол, покрытый кружевной скатертью с легкомысленными оборками, и зеркало в золотой раме. Визитеров несколько и пугала, и восхищала чужеродность всего этого убранства, словно переносившего их в атмосферу французских романов и приглашавшего к участию в сценах, степени аморальности которых простой американец был не в силах даже вообразить. Вот точно в таких покоях и принимали своих любовников героини их книг, эти развратницы из Старой Европы, в таком антураже и творили они свои непристойности! Ньюленд Арчер мысленно переносил любовные сцены «Мсье де Камора»¹ в спальню миссис Мингот и развлекал себя, представляя, как выглядела бы ее безупречно добродетельная жизнь в окружении предметов, так и зовущих к прелюбодейству; он думал (не без доли восхищения), что если этой несокрушимой в своей смелости женщине вдруг сейчас понадобился бы любовник, то и любовника бы она себе раздобыла с легкостью.

К большому облегчению наших визитеров, графини Оленска в гостиной ее бабки не оказалось. Та объяснила, что графиня отправилась на прогулку; делать это при таком ярком солнечном свете, да еще в час, обычно всеми посвящаемый покупкам, выглядел деянием не слишком деликатным для женщины, так или иначе себя скомпрометировавшей. Однако, удалившись, она избавила их от своего присутствия во время визита и от той легкой тени, которой ее сомнительное прошлое могло бы омрачить лучезарность предуготовленного им будущего. Визит прошел, как и ожидалось, успешно. Престарелая миссис Мингот с восторгом отнеслась к известию о помолвке, которую прозорливая родня давно предвидела,

¹ «Мсье де Камор» — роман французского писателя Октава Фёйе (1821—1890).

долго обсуждала и приняла на семейном совете, а обручальное кольцо с сапфиром, изящно вправленным в почти незаметные лапки, было ею всецело одобрено.

— Оправа сделана по современной моде, — пояснила миссис Уэлланд, — камень она подчеркивает превосходно, но традиционному вкусу может показаться бедноватой. — И миссис Уэлланд покосилась на будущего зятя, как бы прося ее извинить.

— Традиционному вкусу? Надеюсь, это не меня, дорогая, вы имеете в виду? Я люблю новшества, — молвила прародительница, поднося кольцо к своим маленьким глазкам, чей блеск никогда еще не умерялся очками. — Очень красиво, — заключила она. — И ново. Без предрассудков. В мое-то время довольствовались камеей с жемчужным ободком. Но, по правде говоря, красоту кольца более всего способна подчеркнуть рука! Не так ли, милый мой мистер Арчер? — Она взмахнула своей крохотной, с острыми ноготками и подушками старческого жира вокруг запястья ручкой: — Вот это мое кольцо делал в Риме великий Ферриджани. Надо, чтобы он и для Мэй постарался. Он, конечно, будет рад сделать для тебя кольцо, дитя мое! Какая крупная рука у тебя, однако... неужели это современный спорт так утолщает суставы? Но кожа белая... А когда будет свадьба? — вдруг прервала она себя и просверлила взглядом Арчера.

— О-о... — забормотала было миссис Уэлланд, но Арчер, улыбнувшись невесте, ответил:

— Как можно быстрее, если вы не против, миссис Мингот.

— Но им же, мама, надо дать время... чтобы узнать друг друга получше... — вмешалась миссис Уэлланд, умело изображая озабоченность и сомнение.

— Узнать друг друга? — вскинулась глава рода. — Чуть! В Нью-Йорке все и всегда всё знали и знают! Пусть будет так, как хочет молодой человек. Пожените их перед постом. Хватай момент, пока вино еще пенится! Я теперь, что ни зима, из пневмоний не вылезаю, а ведь собираюсь дать свадебный завтрак...

Вся эта последовательность важных заявлений была воспринята как должно — с шутиливой недоверчивостью, благодарностью и любезной, сдержанной веселостью. Общий тон благодушной любезности, возобладавший под конец визита, был снят появлением в открытой двери графини Оленска в шляпе, мантилье и в сопровождении совсем уже неожиданной фигуры Джулиуса Бофорта.

Встречено это было неясными возгласами одобрения и приветствиями со стороны гостей, а миссис Мингот, протянув банкиру руку с образчиком от Ферриджани, воскликнула: «Ха! Бофорт! Вот уж нежданно-негаданно. Какое редкое удовольствие!» (Она усвоила иностранную манеру обращаться к мужчинам по фамилии.)

— Благодарю. Хотел бы иметь возможность доставлять вам удовольствие почаще, — как всегда, легко и чуть надменно, парировал гость, — но я весь в делах, а тут вдруг встречаю на Мэдисон-сквер графиню, и она была так добра, что разрешила мне проводить ее домой.

— Ах, надеюсь, теперь, когда Эллен здесь, в доме нашем станет повеселее! — с дерзким вызовом вскричала миссис Мингот. — Садитесь, садитесь, Бофорт: придвиньте вон то кресло, желтое, и мы с вами немножко посплетничаем! Я слыхала, что бал ваш был просто изумителен и, я так понимаю, вы миссис Лемюель Стратерс пригласили?

Она совершенно забыла про своих родственников, и те потянулись в прихожую, провожаемые Эллен Оленска. Престарелая миссис Мингот всегда питала склонность к Джулиусу Бофорту и даже восхищалась им, чувствуя в нем родственность натуры — волевой, холодной, умеющей подчинять и властвовать вопреки правилам и добиваться своего, действуя самыми короткими путями. Вот теперь ее разбирало любопытство относительно решения Бофортов принять у себя (впервые!) миссис Лемюель Стратерс, вдову Стратерса — короля ваксы, прервавшей за год до этого свое длительное пребывание в Европе, чтобы начать осаду маленькой, но неподатливой крепости под названием «Нью-Йорк».

— Конечно, если вы и Регина решились ее принимать, вопрос исчерпан. Что ж, нам нужна новая, свежая кровь, да и деньги новые не помешают. К тому же, я слышала, она все еще хороша собой... — И леди плотно улыбнулась.

В холле, где миссис Уэлланд и Мэй набрасывали на плечи свои меха, Арчер заметил в улыбке обращенной к нему графини Оленска легкий вопрос.

— Вы, конечно, уже знаете... насчет меня и Мэй, — с застенчивым смешком проговорил он в ответ на ее улыбку. — Она отругала меня за то, что я не сообщил вам эту новость раньше, еще в Опере. Она велела мне сказать вам, что мы с ней помолвлены, но я не смог... в такой толпе...

Улыбка графини Оленска переместилась с глаз на губы и словно сделала ее юнее, увеличив сходство с той, прежней, бойкой темноглавой Эллен Мингот его детства.

— Ну конечно, я знаю, конечно! И я рада. И сообщать об этом прилюдно нехорошо.

Дамы были уже в дверях, и она протянула ему руку.

— До свидания. Заходите ко мне. Повидаемся, — сказала она, задержавшись на Арчере взглядом.

Сидя в экипаже и направляясь по Пятой авеню к центру, они колко и язвительно обсуждали миссис Мингот, говорили о ее возрасте, характере, причудах. Об Эллен Оленска не было сказано ни слова, однако Арчер знал, что миссис Уэлланд в эти минуты думает: «Нет, показаться на кишащей народом Пятой авеню вместе с Бофортом и сразу же по приезде — это со стороны Эллен большая ошибка!» И мысленно он добавлял: «И к тому же ей следовало бы помнить, что недавно помолвленные молодые люди замужних дам не навещают и время с ними не проводят. Впрочем, полагаю, что в среде, в которой она жила дотеле, проводят. По-другому там даже и не бывает!» И, несмотря на космополитичность своих воззрений, которой он так гордился, он возблагодарил небо за то, что родился ньюйоркцем и вскоре свяжет свою жизнь с жизнью девушки одного с ним круга.

Следующим вечером старый мистер Силлертон Джексон обедал у Арчеров.

Миссис Арчер, будучи женщиной застенчивой, общества избегала, но узнавать о том, что происходит в его недрах, любила и считала за необходимость. Старый ее друг мистер Силлертон Джексон к изысканиям в этой области подходил серьезно и, вникая в дела своих друзей, проявлял терпение коллекционера и широту эрудиции истинного натуралиста. Сестру его, мисс Софи Джексон, жившую с ним вместе, охотно принимали в домах, не умевших залучить к себе ее модного и крайне востребованного брата, и она приносила оттуда обрывки информации и мелкие сплетни, заполняя тем самым пустоты в многофигурной композиции, создаваемой талантом Силлертона Джексона.

Вот почему всякий раз, когда случалось нечто, о чем миссис Арчер хотелось бы разузнать, она приглашала к обеду мистера Джексона, и, так как приглашений ее удостаивались немногие, а она, равно как и ее дочь Джейни, являлись отличными слушателями, мистер Джексон, вместо того, чтобы посылать к ней сестру, обычно являлся сам. Если б был он вправе обговаривать условия, он попросил бы пригласить его в вечер, когда Ньюленда не будет дома, и не потому, что не смог бы найти с ним общего языка (встречаясь в клубе, они отлично ладили), просто старый балагур нет-нет да ощущал веявший со стороны Ньюленда холодок недоверия, склонность юноши подвергать его слова и свидетельства некоторому сомнению, чего за родственницами Ньюленда уж никак не водилось.

А для полного совершенства (если б таковое было бы достижимо на этом свете) мистер Джексон пожелал бы, чтоб еда у миссис Арчер была повкуснее. Но в то время (даль которого мы едва можем охватить умственным взором) Нью-Йорк был разделен как бы на два одинаково солидных лагеря, один представляли Минготы Мэнсоны

и вся многочисленная родня, составлявшая их клан — люди этого лагеря наслаждались едой, красивой одеждой и деньгами, в то время как клан Арчер-Ньюленд-Вандерлиденов принадлежал к другому лагерю, тех, кто увлекался путешествиями, садоводством и чтением шедевров художественной литературы, презирая при этом удовольствия более грубые и низменные.

Нельзя, впрочем, объять необъятное и желать получить все сразу. Обедаешь у Ловел Минготов? Значит, будет тебе отличная дичь, черепашьё мясо, изысканные вина; зато у Аделины Арчер за столом будут обсуждаться альпийские пейзажи и «Мраморный фавн»¹, к тому же в доме хранились еще и запасы мадеры, сумевшей некогда обогнуть мыс Код. Поэтому, получив очередное приглашение от миссис Арчер, мистер Джексон, как подлинный эклектик, обычно говорил сестре: «Последний обед у Ловел Минготов окончился для меня обострением подагры. Так что поголодать немного у Аделины мне будет даже полезно».

Миссис Арчер давно овдовела и жила на Западной Двадцать восьмой улице с сыном и дочерью. Весь верхний этаж был отдан Ньюленду, дамы же теснились внизу, в менее просторных и удобных помещениях. Жизнь их являла собой пример полной и нерушимой гармонии вкусов и интересов: они вместе и дружно растили в горшках папоротники, плели кружева макраме, украшали вышивками скатерти и постельное белье, коллекционировали обливную кухонную утварь времен Революции, подписывались на «Доброе слово» и читали романы Уиды², в которых ценили их итальянскую атмосферу (в особенности им нравились те из них, где описывалась жизнь крестьян — добрые чувства на лоне природы, хотя вообще-то больший интерес вызывали у них романы о людях из общества, людях, чьи нравы, привычки и по-

¹ «Мраморный фавн» — роман американского писателя Наталиа Готорна (1860).

² Уида — псевдоним английской писательницы-романистки Марии Луизы Раге (1839–1908).

буждения казались им понятнее и ближе; они осуждали Диккенса, «ни разу не сделавшего своим героем джентльмена», и считали, что Теккерей хуже знает свет, нежели Бульвер¹, впрочем, последнего, как говорят, начинают потихоньку списывать в архив. Обе — и миссис, и мисс Арчер — были большими любительницами природы, и во время редких своих заграничных вояжей они стремились лицезреть именно природу, отыскать ее красоты и восхититься ими, полагая архитектуру и живопись областью, в которой знают толк лишь мужчины, в особенности знакомые с трудами Рёскина².

Миссис Арчер в девичестве носила фамилию Ньюленд, и обе они, и мать, и дочь, похожие друг на друга, точно сестры, были, по общему мнению, «истинными Ньюлендами»: рослые, бледные, слегка сутулые, длинноносые, улыбочиво-серьезные и хранящие вид несколько пожухлого и клонящегося к упадку достоинства. Такими предстают люди на некоторых старых портретах Рейнольдса³. Физическое сходство матери и дочери было бы полным, если б черная парча платьев миссис Арчер не трещала бы под натиском накопленного с годами жира, в то время как коричневые и пурпурно-розовые поплиновые наряды мисс Арчер со временем все больше никли, обвисая на девственной ее фигуре.

Внутреннее же, духовное сходство их, как это подмечал Ньюленд, было менее полным, чем представлялось, исходя из тождественности их привычек и манер. Долгие годы совместной жизни и сплоченность, питаемая зависимостью друг от друга, выработали у них общность лексики и речевых выражений, как то: манеру начинать попытку высказать свое мнение со слов «мама считает» или, соответственно, «Джейни думает», однако

¹ Бульвер — Бульвер-Литтон Эдвард (1803–1873) — английский писатель и политический деятель.

² Рёскин Джон (1819–1900) — английский критик и теоретик искусств.

³ Рейнольдс сэръ Джошуа (1723–1792) — английский художник-портретист, автор примерно двух тысяч портретов.

человек наблюдательный мог понять, что если напрочь лишенная воображения миссис Арчер в мнениях своих с полным хладнокровием и безмятежностью опирается на общепринятое и издавна знакомое, то Джейни бывают свойственны неожиданные взлеты и причуды фантазии — плоды угнетенной, не находящей выхода женственности.

Мать и дочь обожали друг друга и благоговели перед сыном и братом, и Арчер любил их нежно, безоговорочно и тем нежнее, чем больше страдал и раскаивался в том, что являлся предметом их абсолютно непомерного восхищения. «Впрочем, — думал он, — разве так уж плохо для мужчины знать, что в собственном доме тебя уважают?» И однако чувство юмора порою заставляло его задаваться вопросом, насколько велики сроки действия выданного ему домашними мандата доверия. Что же касается упомянутого званого обеда, то наш молодой человек, нимало не сомневаясь, что мистер Джексон предпочел бы его за столом не видеть, все же имел причины присутствовать на обеде.

Старик Джексон, несомненно, собирался поделиться сведениями об Эллен Оленска, а миссис Арчер и Джейни, так же несомненно, собирались послушать, что он расскажет. Присутствие за столом Ньюленда теперь, когда перспектива его грядущего вхождения в клан Минготов была обнародована, станет смущать всех троих, и юноше показалось любопытным и забавным понаблюдать, как одолеют они эту препону.

Разговор был начат издали — с обсуждения миссис Лемюель Стратерс.

— Жаль, что Бофорты пригласили ее, — мягко ввернула миссис Арчер, — но Регина всегда делает то, что он ей велит, ну а *Бофорт*...

— Далеко не все тонкости ему доступны, — сказал мистер Джексон, с опаской оглядывая рыбу на вертеле и в который раз удивляясь тому, как умудряется повар миссис Арчер всегда превращать жаркое в угли. (Ньюленд, с давних пор разделявший с ним это удивле-

ние, всегда мог распознать его следы на лице старого джентльмена, уловить их в чертах, выражавших сейчас печаль и неодобрение.)

— О, еще бы! Бофорт вульгарен! — сказала миссис Арчер. — Мой дед Ньюленд не уставал твердить моей матушке: «Поступай, как знаешь, но с девочками Бофорта не знакомь!» Однако с тех пор Бофорт хотя бы пообтерся немного, покрутился среди джентльменов, и в Англии тоже, как говорят. Все это так загадочно... — Она покосилась на Джейни и сделала паузу.

И она сама, и Джейни отлично знали малейшие детали этой загадки, но при людях миссис Арчер продолжала делать вид, будто считает данный предмет разговора неподходящим для ушей невинных девушек.

— Но эта миссис Стратерс, — продолжила она, — что знаете вы о ее прошлом, Силлертон, откуда она взялась?

— Откопали где-то в рудниках или, вернее сказать, в каком-то салуне помоечном возле рудников. Стала ездить с шоу «Живые восковые фигуры», гастролировала в Новой Англии, пока полиция не прикрыла эту лавочку. Я слышал, она жила... — Тут мистер Арчер в свой черед покосился на Джейни, чьи глаза под припухшими веками буквально вылезали из орбит: в сведениях ее о прошлом миссис Стратерс, видно, были еще пробелы.

— Ну а потом, — продолжал мистер Джексон (и Арчер заметил его удивление тем, что никто не удосужился объяснить старшему лакею, что огурцы никогда не следует нарезать стальным ножом), — потом возник Лемюель Стратерс. Говорят, он использовал голову девушки для рекламы ваксы, волосы ее, знаете ли, ему приглянулись, черные-черные, ну, как у цыганки, черные, как вакса. Так или иначе, он... Словом, в конечном счете он на ней женился.

«В конечном счете» мистер Джексон произнес с особым нажимом, чуть ли не по слогам.

— Ну, мы теперь до такого докатились, что такому никто и значения не придает, — равнодушно заметила миссис Арчер. Строго говоря, фигура миссис Стратерс для

дам особого интереса не представляла. Все заслоняла собой другая животрепещущая тема — Эллиен Оленска, а о Стратерс миссис Арчер заговорила лишь для затравки, чтоб был предлог вдруг спросить: «Ну а новая родственница Ньюленда, графиня Оленска? *Она-то* на балу присутствовала?»

Легкий налет сарказма в реплике миссис Арчер был обращен к сыну. Сарказма он ожидал, и он его почувствовал. Ведь даже миссис Арчер, не склонная попусту одобрять все подряд, и та было совершенно счастлива его помолвкой. («В особенности после этой дурацкой истории с миссис Рашворт», как выразилась она в разговоре с Джейни, говоря о том, что Ньюленду представлялось трагедией, шрам от которой навеки будет хранить его душа.)

С какой стороны ни возьми, но невесты лучшей, чем Мэй Уэлланд, в Нью-Йорке было не сыскать. Конечно, такой брак Ньюленд вполне заслуживал, но ведь молодые люди так глупы и нерасчетливы, а женщины им порою попадаются хищные, цепкие и совершенно неразборчивые в средствах, готовые на что угодно, лишь бы поймать в капкан... так что благополучно миновать этот остров сирен и бросить якорь в безопасной гавани у людей поистине безупречных — сродни чуду!

Все это чувствовала миссис Арчер, и он знал, что она это чувствует, но знал также и то, что столь скоропалительное объявление помолвки, а вернее, причина такой скоропалительности ее волнует и ей непонятна. Вот почему, как нежный сын и заботливый хозяин, он в тот вечер остался дома.

— Я не то чтобы не одобряю семейной спайки Минготов, но почему к помолвке Ньюленда примешали эту Оленска с ее отъездами и приездами, я, убей меня, не понимаю! — недовольно буркнула она Джейни, единственному свидетелю легких трещин в непробиваемой броне ее безукоризненной безопасности.

В течение всего визита к миссис Уэлланд она вела себя идеально, а в умении вести себя идеально ей не бы-

ло равных, и однако Ньюленд знал (а его суженая, несомненно, догадывалась), что, сидя у миссис Уэлланд, и она, и Джейни были настороже, боясь неожиданного вторжения мадам Оленска, а когда они вместе выходили от Уэлландов, она, обращаясь к сыну, обронила: «Благодарение Господу, Огаста Уэлланд принимала нас одна».

Эти свидетельства внутренней озабоченности и беспокойства волновали Арчера, тем более, что и сам он считал, что Минготы немного перегнули палку. Но так как заводить разговор о чем-то самом для них существенном оба — и мать, и сын — считали невозможным, противоречащим принятому ими кодексу морали, он ограничил свой ответ словами: «О, так уж заведено... все эти обязательные визиты после помолвки... хотя бы они скорее кончились!» На что мать ответила поджатием губ, еле видимых за кружевной вуалью, свисавшей со шляпки из серого бархата, украшенной гроздьями как бы тронутого морозом винограда.

Ее мстью, и, как он чувствовал, мстью законной, должна была стать попытка «вытянуть» этим вечером из мистера Джексона все возможные сведения о графине Оленска, и так как свой долг в качестве будущего члена клана Минготов он, по его мнению, выполнил, и выполнил публично, наш молодой человек не имел теперь ничего против того, чтобы послушать, что скажут дамы на сей счет в приватном порядке, хотя самый предмет этой беседы уже начал порядком ему надоедать.

Мистер Джексон взял себе ломтик еле теплого филе, предложенного ему печальным старшим лакеем, поглядывавшим на филе так же скептически, как и сам мистер Джексон. От грибного соуса последний, еле заметно потянув носом, отказался. Выглядел он обескураженным и голодным, и Арчер подумал, что, обсудив Эллен Оленска, мистер Джексон, возможно, на этом трапезу свою и завершит.

Откинувшись на спинку стула, мистер Джексон поднял взгляд к лицам Арчеров, Ньюлендов и Вандерлиденов,

чь портреты в темных рамах, развешанные по темным стенам дома, были теперь озарены светом канделябров.

— Ах, как же твой дедушка, дорогой мой Ньюленд, любил вкусно поесть за обедом! — сказал он, задержав взгляд на портрете пухлого и с мощной грудью юноши в синем сюртуке и широком галстуке, изображенного на фоне белых колонн загородной усадьбы. — Хотел бы я знать, что сказал бы он насчет этих браков с иностранцами!

Намек относительно кухни предка миссис Арчер проигнорировала, и мистер Джексон продолжил, неспешно и раздумчиво сказав:

— Нет, на балу ее *не было*.

— Ах... — пробормотала миссис Арчер, и в тоне ее прозвучало: «Ну хоть на это ей хватило благопристойности!»

— Возможно, Бофорты просто не знают ее, — подпустила свою невинную шпильку Джейни.

Мистер Джексон тихонько причмокнул, будто смакуя припрятанную мадеру:

— Миссис Бофорт, может, и не знает, ну а Бофорт, уж конечно, знает, потому что сегодня весь Нью-Йорк наблюдал, как они вдвоем разгуливают по Пятой авеню.

— Господи... — простонала миссис Арчер, видимо, осознав всю тщетность поисков деликатности в поступках иноземцев.

— Интересно, какие шляпки она носит днем — с полями или без, — пустилась в размышления Джейни. — В Опере, как мне сказали, она была в темно-синем бархатном платье, совершенно простом, без украшений, и свободном, как ночная рубашка.

— Джейни! — одернула ее мать, и мисс Арчер, покраснев, приняла вид независимый и дерзкий.

— Во всяком случае, в ее неоявлении на балу вкуса было побольше, — продолжала гнуть свое миссис Арчер.

Сын подхватил тему, но дух противоречия заставил его возразить:

— Не думаю, что тут дело во вкусе. Мэй объяснила, что она хотела пойти, но потом решила, что платье, о котором шла речь, для бала недостаточно нарядно.

Миссис Арчер лишь улыбнулась тому, что мнение ее подтвердилось.

— Бедная Эллен! — вздохнула она и сочувственно добавила: — Нам всем не мешает помнить, какое странное, эксцентричное воспитание дала ей Медора Мэнсон. Чего и ожидать от девушки, которой на первый свой бал разрешили нарядиться в черный атлас!

— Ах, как не помнить ее в том черном платье! — проговорил мистер Джексон и тут же со вздохом добавил: — Бедная девочка! — словно вспомнив нечто приятное, он не забыл и о том, какие последствия это «приятное» возымело.

— Странно, — заметила Джейни, — что она по-прежнему носит это дурацкое имя Эллен. На ее месте я бы сменила его на Элейн.

И она оглядела сидевших за столом, любопытствуя, достаточный ли эффект произвела.

Ее брат засмеялся:

— Почему именно Элейн?

— Не знаю. Элейн, кажется мне, звучит больше... больше по-польски, — краснея, сказала Джейни.

— Звучит более вызывающе, что вряд ли отвечает ее желаниям, — сухо заметила миссис Арчер.

— А почему бы и нет? — вмешался ее сын, внезапно обретя аргументы. — Почему бы ей и не вести себя вызывающе, если ей так хочется? Зачем ей прятаться и таиться, если это не она себя опозорила. Разумеется, она «бедняжка Эллен», если ее угораздило так неудачно выйти замуж, но я не вижу причины, почему ей следует жить, втянув голову в плечи, словно она какая-то преступница!

— Наверно, — задумчиво сказал мистер Джексон, — именно так и рассуждали Минготы, выбирая для себя линию поведения.

Юноша покраснел:

— Я не нуждался в их подсказке, если вы это имели в виду, сэр! Мадам Оленска в жизни не повезло, но зачем делать ее изгоем?

— Но слухи... — начал было мистер Джексон и покоился на Джейни.

— О, знаю: слухи про секретаря! — подхватил его мысль юноша. — Глупости, мама, Джейни — взрослая девушка! По слухам, — продолжил он, — этот секретарь помог ей сбежать от этой скотины — мужа, который держал ее буквально под замком. Что ж тут такого? Думаю, каждый нормальный мужчина в такой ситуации поступил бы точно так же!

Мистер Джексон обернулся, чтобы сказать стоявшему за его стулом печальному старшему лакею:

— Возможно, этот соус... несколько того...

А потом, взяв себе еще порцию, заметил:

— Мне говорили, что она подыскивает дом. Собирается здесь остаться.

— Я слышала, она хочет получить развод, — смело говорила Джейни.

— И, надеюсь, получит, — с жаром подхватил Арчер.

В чистую, безмятежную атмосферу арчеровской столовой слово «развод» вторглось разорвавшейся бомбой. Миссис Арчер подняла тонкие свои брови, изогнув их особой дугой, означавшей: «Лакей!», и молодой человек, и сам старавшийся не погрешить против вкуса, прилюдно рассуждая о вещах столь интимного свойства, поспешно перевел разговор на рассказ об их визите к престарелой миссис Мингот.

После ужина, согласно древнему, как мир, обычаю, миссис Арчер и Джейни, шелестя шелками длинных платьев, перешли в гостиную, и там, пока мужчины курили под лестницей, они, сидя за рабочим столом из красного дерева друг напротив друга, при свете керосиновой лампы с гравированным колпаком, стоявшей на столе, с двух сторон тянули из зеленого шелкового мешка под столом и между ними ленту гобеленового орнамента, расшивая его полевыми цветочками. Орнамент призван был украсить собой «гостевое кресло» в гостиной будущей миссис Ньюленд Арчер.

А пока в нашей гостиной кипела работа, Арчер, предложив мистеру Джексону кресло возле камина в готической библиотеке, угостил его сигарой. Мистер Джексон, с удовольствием опустившись в кресло, закурил сигару с полным доверием к ее качеству (так как покупал сигары Ньюленд самолично) и, протянув к горячим углям свои худые старческие лодыжки, сказал:

— Так ты утверждаешь, дорогой мой мальчик, что секретарь всего лишь помог ей сбежать? Ну так скажу я тебе, что помогал он ей таким образом и год спустя, так как их встречали в Лозанне, где они жили вместе.

Ньюленд покраснел:

— Жили вместе? Ну так почему бы и нет? Кто дал нам право считать, что ее жизнь кончена, если она не кончена? Терпеть не могу этого лицемерия — хоронить живо женщину, еще нестарую, только потому, что ее муж якшается с проститутками!

Он оборвал свою речь и отвернулся, тоже закуривая сигару.

— Женщины должны иметь свободу ровно такую же, как и мы, мужчины! — возгласил он, делая тем самым открытие, всю меру ужасных последствий которого ему мешало оценить охватившее его в тот момент раздражение.

Мистер Силлертон еще ближе придвинул к камину лодыжки и сардонически присвистнул:

— Что ж, — сказал он, помолчав, — по всему судя, граф Оленски с тобой это мнение разделяет. Ибо, как я слышал, он палец о палец не ударил, чтобы вернуть жену.

ГЛАВА 6

В тот же вечер, как только мистер Джексон отбыл, а дамы удалились в свою увешанную ситцевыми шторами спальню, Арчер поднялся к себе в кабинет. Там бдительная рука прислуги, как всегда, заботливо не дала погаснуть огню в камине, подкрутила фитиль лампы, и комната, с ее рядами книг, бронзовыми и стальными фи-

гурками фехтовальщиков на каминной полке и обилием фотографических репродукций известных картин, радушно приняла его в свои объятия, окунув в неповторимую атмосферу родного ему домашнего уюта.

Бросившись в любимое кресло возле камина, он остановил взгляд на фотографии Мэй Уэлланд, подаренной ему девушкой в пору, когда их роман еще только завязывался, фотографии, потеснившей все другие на его столе. С каким-то новым чувством благоговения рассматривал он теперь чистый, открытый лоб, серьезные глаза, наивно улыбающиеся губы юного создания, чьей душе вскоре предстояло быть вверенной ему на попечение. Лицо Мэй Уэлланд, глядевшей на него с фотографии, внезапно словно изменилось — милые знакомые черты девушки, еще не ведавшей ничего в жизни и жаждущей получить от жизни все, вдруг обернулись пугающим отражением черт общества, к которому, правда, принадлежал и он и в которое он верил; лицо это было слепком, этим обществом изготовленным, было его плодом и детищем.

И вновь в который раз забрезжила догадка, что брак — это вовсе не тихая гавань, как ему внушали, не надежный якорь, брошенный у безопасной пристани, а плавание без карты по неведомым морям.

История с графиней Оленска переворошила устоявшиеся представления, внеся в них сумбур, и теперь мысли Арчера были в разброде и крутились в голове в хаотическом беспорядке. Бросив фразу: «Женщины должны иметь свободу, ровно такую же, как мы», он заценил корень проблемы, в его мире считавшейся несуществующей. Женщины «порядочные», пусть даже разок и оступившиеся, никогда не требовали для себя той свободы, которую имел в виду он, и с тем большей готовностью и щедростью мужчины, столь же великодушные, как он, в пылу спора и рыцарских чувств спешат им эту свободу даровать. Но щедрость эта — лишь на словах, она обманчива и лицемерна, это маска, скрывающая все те же неистребимые условности и правила, на которых держит-

ся все и которые не дают ни на шаг отступить от общепринятого.

В кухне Мэй он взялся защищать то, что в самой Мэй не потерпел бы и был бы вправе, позволить она себе такое поведение, призвать на помощь всю мощь государства и церкви для того, чтобы, меча громы и молнии, ее за это осудить. Разумеется, подобные размышления — чистая абстракция, своего рода гипотеза: как-никак он, Ньюленд, не польский аристократ и не подонок, и думать о правах жены в том случае, если б таковым он все-таки оказался, глупость и абсурд. Однако Ньюленду с его пылким воображением вовсе не трудно измыслить обстоятельства, пусть даже и не столь серьезные или же не столь явные, но непоправимо рушащие его отношения с Мэй. Ведь что могут они, строго говоря, знать друг о друге, если долг его, как человека «порядочного», скрыть от невесты свое прошлое, в то время как ее долг и долг всякой девушки на выданье — никакого прошлого не иметь? И разве не могут они расстаться по причине и вовсе незначительной и даже трудноуловимой — устав друг от друга, или по недоразумению, или вдруг вспыхнув во время ссоры? Он перебирал в памяти браки своих знакомых и друзей, браки, считавшиеся удачными, счастливыми, и понимал, что ни один из них и малейшего сходства не имеет с той неиссякаемо нежной страстью, которая рисовалась ему в мечтах об их с Мэй брачном союзе. Он догадывался, что для установления такого рода отношений от Мэй бы потребовались и опыт, и многосторонность, и свобода суждений — качества, которых ее так долго и заботливо учили не иметь, и с содроганием прозревал будущность своего брака, грозившего превратиться в подобие других браков вокруг — в скучный союз, скрепленный общностью материальных интересов и положения обоих в свете, союз, поддерживаемый лишь неведением — одной стороны и лицемерием — другой. Супруга такого типа идеально, на взгляд Арчера, воплощал собой Лоренс Лефертс. Будучи мастером и верховным жрецом формы, он и жену воспитал себе под

стать, жену крайне удобную, известную тем, что, когда весь свет трубит об очередной скандальной интрижке ее мужа с чужой женой, она ходит с видом полного неведения и, мило улыбаясь, жалуется лишь на «чрезмерную строгость» ее Лоренса в вопросах морали, а когда однажды в ее присутствии речь зашла о Бофорте, который (как это и водится у иностранцев, да еще столь сомнительного происхождения) обзавелся в Нью-Йорке, что называется, «вторым гнездышком», она покраснела от негодования и смущенно отвела взор.

Арчер пытался утешить себя мыслью, что он не такой осел, как Ларри Лефертс, да и Мэй не до такой степени простодушна, как бедная Гертруда, но разницу составляла лишь степень интеллекта, а вовсе не принятые стандарты поведения и взглядов. На самом деле все они жили в мире иероглифов, где впрямую ничто не делалось, не называлось и даже не думалось, а реальность была представлена набором знаков, принятых и произвольно утвержденных, поэтому миссис Уэлланд, отлично знавшая, по какой причине Арчер настаивал, чтобы о помолвке дочери было объявлено на балу (и даже удивилась бы обратному), считала необходимым изображать неудовольствие от того, что ее якобы заставили так поступить, в точности, как это бывало в первобытных племенах, чью жизнь теперь все углубленнее изучают представители более развитой цивилизации — там тоже было принято тащить невесту из родительской хижины под ее вопли и крики.

В результате девушка, являвшаяся центром всей этой сложной и запутанной системы мистификации, оставалась загадкой тем большей, чем более открытой и уверенной казалась. Она была открытой, бедняжка, потому что ей было нечего скрывать, уверенной — потому что не знала за собой никаких секретов, на страже которых ей следовало быть. И вот с таким багажом ей, совершенно неподготовленной, в одночасье предстояло столкнуться с тем, что уклончиво зовется «некоторыми сторонами жизни, как она есть».

Наш молодой человек любил искренне, но трезво. Он восхищался лучезарной красотой своей избранницы, ее отличным здоровьем, мастерством верховой езды, ее грацией и ловкостью в играх, робким интересом к книгам и идеям, начавшим проявляться в ней под его руководством. (Она сделала кое-какие успехи — достаточные, чтобы вместе с ним потешаться над теннисоновскими «Королевскими идиллиями»¹, но еще не столь существенными, чтобы с наслаждением следить за приключениями Одиссея или интересоваться жизнью лотофагов на их острове.) Она была девушкой прямодушной, верной и храброй, обладала чувством юмора (чему основным доказательством был смех, которым она встречала его шутки), и он подозревал скрытую в глубине ее девственной и созерцательной души искру чувств, разбудить которые он с радостью предвкушал. Но, обзрев вкратце весь ее внутренний мир, он был обескуражен мыслью о том, что вся ее невинность, вся открытость — вымученны и искусственны. От природы Душа человеческая, какая она есть, какой рождается на свет, вовсе не проста и не открыта, наоборот, она вооружена массой хитрых уловок, данных ей для защиты, она инстинктивно лжива. И его тяготила эта искусственная чистота, так хитро сфабрикованная сговором всех этих матушек, тетушек, бабок и давно почивших прародительниц, потому что, по их представлениям, именно этой чистоты он жаждал, на нее имел право, чтобы с наслаждением, как хозяин сокрушить эту снежно-белую чистоту, как крушат фигуру, слепленную из снега.

В его размышлениях не только не было ничего нового, но они отдавали банальностью — обычные мысли и сомнения юноши накануне свадьбы. Однако обычно к ним примешиваются сожаления, угрызения совести, самоуничтожение, которых у Ньюленда не было и следа. Он во все не сокрушался (как нередко раздражавшие его этим

¹ Произведения чрезвычайно популярного в свое время английского поэта Альфреда Теннисона (1809—1892) отличались безмерной выпшенностью и сентиментальностью.

герои Теккерей), что не может подарить возлюбленной в обмен на ее непорочность свою девственную, как белый снег, чистоту. Он не мог побороть в себе подозрений, что, будь он воспитан так же, как она, они чувствовали бы себя как дети, заплутавшие в лесу. И как бы судорожно и страстно ни предавался он размышлениям, он не мог найти основательной причины (никак не связанной с его минутным удовольствием или удовлетворением извечного мужского тщеславия), почему его невесте отказано в той свободе эксперимента, какой пользуется он.

Вот какие мысли бродили в этот поздний час в его голове, и он сознавал, что настойчивость и неотвязность их вызваны случившимся так некстати прибытием графини Оленска. В самый момент помолвки, когда он должен был бы предаваться самым радужным мечтам, полниться самыми чистыми мыслями и безоблачными надеждами, его подняли, как на вилах, подняли и вторгли в скандал, за которым шлейфом тянутся проблемы, которых он предпочел бы избегнуть. «К черту эту Эллен Оленска!» — пробормотал он и, притушив в себе раздражение, принялся раздеваться. Он не мог взять в толк, каким образом и почему ее судьба может иметь отношение к нему, к его жизни и хоть в какой-то степени влиять на нее, но смутно отдавал себе отчет в том, что уже начал считать риски той борьбы, в которую он теперь, так или иначе, втянут.

А несколько дней спустя грянул первый гром.

Ловел Минготы разослали приглашения на так называемый «официальный обед» (то есть обед, предполагавший трех дополнительных лакеев, два блюда для каждой из перемен и римский пунш в середине). В первых же строках приглашения значилось: «В честь приезда графини Оленска» — дань обычному американскому гостеприимству, в соответствии с которым гостей принимают как королевских особ или по крайней мере как послов этих особ.

Гости отбирались с дерзостью и в то же время с тщанием, в которых знатоки распознали бы твердую ру-

ку Екатерины Великой. Наряду с такими бессменными столпами общества, как Селффридж Мерри, которых приглашали всюду и всегда, потому что так было заведено от века, Бофортами, по подозрению в родстве, мистером Силлертоном Джексонем и его сестрой Софи (являвшейся всюду, куда ей указывал явиться ее брат) приглашения получили и некоторые из наиболее популярных и при этом безукоризненных светских пар помоложе: чета Лоренс Лефертсов, миссис Лефертс Рашворт (хорошенькая вдовушка), супруги Торли, Реджи-Чиверсы, молодой Морис Дагонет с супругой (урожденной Вандерлиден). Состав гостей был подобран идеально, так как все приглашенные принадлежали к избранному кружку, члены которого во время долгого нью-йоркского сезона денно и ночью развлекались сообща с явным и неослабным энтузиазмом.

А сорок восемь часов спустя произошло немислимое: каждый из приглашенных, за исключением Бофортов и старого мистера Джексона с сестрой, приглашение Минготов отклонил. Нанесенное оскорбление было тем разительнее, что приглашение в числе прочих отклонили и Реджи Чиверсы, родственники Минготов; подчеркивала его и одинаковая у всех форма отказов, в которых за словами, выразившими «сожаление ввиду невозможности принять приглашение», отсутствовала ссылка на «уже существующую на этот вечер договоренность», такой ссылки, несколько умиряющей отказ, требовали правила простой вежливости. Нью-йоркское общество тех лет было слишком невелико и ограничено в ресурсах, чтобы каждый, ему причастный (включая конюхов, старших лакеев и поваров), не знал бы досконально, кто в какой вечер свободен, а кто нет, что и дало приглашенным к Ловел Минготам возможность продемонстрировать совершенно ясным и жестким образом свое нежелание увидеться с графиней Оленска.

Удар был неожиданным, но Минготы встретили его с присущей им отвагой. Миссис Ловел Мингот поделилась произошедшим с миссис Уэлланд, та, в свою оче-

редь, поделилась с Ньюлендом Арчером, и Ньюленд, пылая гневом возмущения, отправился к матери и страстно, убедительно стал просить ее вмешаться. Миссис Арчер, пройдя мужественный период внутреннего сопротивления и внешних отговорок и отсрочек, уступила наконец требованиям сына (как, впрочем, делала и всегда) и принялась за дело — решительно и с энергией, еще и удвоенной предыдущими сомнениями и колебаниями. Надев свой серый бархатный капор, она сказала: «Еду к Луизе Вандерлиден!»

Нью-Йорк времен Ньюленда Арчера можно было бы уподобить пирамиде, невысокой, но монолитной и со скользкой поверхностью — без единой (пока еще) трещины для опоры. Твердое основание пирамиды составляли те, кого миссис Арчер называла простолюдинами, — добропорядочное, но не совсем ясного происхождения большинство — почтенные семейства тех (как в случае со Спайсерами, или Лефертсами, или Джексонами), кто сумел повысить свой статус, заключив брак с кем-то из правящих кланов. «Люди сейчас, — любила повторять миссис Арчер, — не так щепетильны, как в прежние времена, и если на одном конце Пятой авеню правит бал старая Кэтрин Спайсер, а на другой — царит Джулиус Бофорт, то трудно ожидать, что старые традиции сохранятся надолго».

По направлению к вершшке пирамида неуклонно сужалась, выделяя из субстрата людей состоятельных, но ничем не выдающихся, сплоченную и небольшую доминантную группу, ярко представленную Минготами, Ньюлендами, Чиверсами и Мэнсонами. Большинство полагало, что это и есть вершшка пирамиды, но сами принадлежавшие к этой группе (во всяком случае, из поколения миссис Арчер) отлично знали, что, на просвещенный взгляд знатока генеалогии, на такую честь могли претендовать лишь немногие избранные семейства.

«Не хочу слышать, — говорила миссис Арчер детям, — всю эту газетную чушь о так называемой нью-йоркской аристократии! Если таковая и имеется, то это не Минготы, нет, и не Ньюленды, как и не Чиверсы! Наши деды

и прадеды были всего лишь почтенными купцами — английскими или голландскими, отправившимися в колонии для заработка и оставшимися здесь, потому что дела у них пошли хорошо. Один из ваших предков подписал Декларацию¹, другой был генералом в ставке Вашингтона и принял меч у генерала Бургойна² после битвы при Саратоге. Всем этим стоит гордиться, но никакого отношения к аристократии наши предки не имеют. Нью-Йорк всегда был сообществом торговцев и коммерсантов, а на аристократическое происхождение здесь могут претендовать в строгом смысле слова лишь семейства три, не больше.

Миссис Арчер, как и ее сыну, и дочери, как и всем прочим в Нью-Йорке, было известно, кто эти привилегированные семейства: во-первых, Дагонеты с Вашингтонсквер, потомки старинного английского графского рода, состоявшего в родстве с Питтами и Фоксами; затем Ланнинги, пережившие с потомками графа Де Грасса, и Вандерлидены — прямые потомки первого голландского губернатора Манхэттена, еще до Революции породнившиеся, вступая с ними в браки, с представителями французской и британской знати.

Из Ланнингов сохранились лишь две очень старые, но бодрые мисс, безмятежно доживавшие свой век среди воспоминаний, семейных портретов и мебели чиппендейл; Дагонеты были представлены значительно шире, к тому же их связывало родство с лучшими семействами Балтимора и Филадельфии; но выше всех в этой иерархии располагалось семейство Вандерлиден, пребывавшее к тому времени в глубоком сумраке забвения, за исключением двух весьма заметных фигур — мистера и миссис Генри Вандерлиденов.

Миссис Генри Вандерлиден в девичестве звалась Луиза Дагонет. Ее мать являлась внучкой полковника Дюлака, происходившего из старинного семейства, испокон

¹ Декларация независимости (1776).

² Генерал Бургойн Джон (1822–1892) — британский генерал, участвовавший в сражениях Войны за независимость (1775–1783) и капитулировавший в битве при Саратоге (1777).

веку жившего на одном из островов Канала¹; в войну он сражался под командованием Корнуолиса², а после войны обосновался в Мэриленде и женился на леди Анжелике Тревенна, пятой дочери графа Сент-Острей. Узы, связывающие Дагонетов, мэрилендских Дюлаков и их аристократическую корнуольскую родню Тревенна, всегда оставались тесными и полными сердечной симпатии. Мистер и миссис Вандерлиден не раз подолгу гостили у тогдашнего главы дома Тревенна герцога Сент-Острей и в его резиденции в Корнуолле, и в Глостерширском Сент-Острее, и Его светлость часто говорил о своем намерении когда-нибудь отдать им визит (без герцогини, бовавшейся плаваний в Атлантике).

Мистер и миссис Вандерлиден делили свое время, пребывая то у леди Тревенна в Мэриленде, то в Скитерклиффе, величественной усадьбе на Гудзоне, подаренной в числе прочих колониальных даров голландского правительства выдающемуся губернатору, усадьбе, «почетным владельцем» которой теперь являлся мистер Вандерлиден. Их большой, внушительного вида дом на Мэдисон-авеню открывался редко, и, наезжая в город, на Мэдисон-авеню они принимали лишь самых близких своих друзей.

— Надо бы и тебе со мной поехать, Ньюленд, — сказала ему мать, уже стоя возле «Браун-купе». — Луизе ты так нравишься, а кроме того, я ведь это ради Мэй предпринимаю такие шаги еще потому, что уж если и нам не держаться вместе, то от общества вообще ничего не останется.

ГЛАВА 7

Рассказ своей кузины миссис Арчер миссис Генри Вандерлиден слушала молча. Всегда и с самого начала стоило не упускать из виду, что для миссис Вандерлиден молчание являлось состоянием обычным, но, несмотря на

¹ То есть Ла-Манша.

² Маркиз Корнуолис Чарльз (1738–1805) — командующий британскими войсками во время Войны за независимость.

ее уклончивую сдержанность, качество, свойственное ей от природы, а еще и добавленное воспитанием, к людям, ей искренне симпатичным, она была очень добра. Но, даже помня это и имея опыт общения с ней, не всегда можно было избежать дрожи холода, попадая в гостиную дома на Мэдисон-авеню — просторную, с высоким потолком и белоснежными стенами, уставленную креслами с их бледной парчовой обивкой, выглядевшими так, словно с них только ради вас сняли чехлы, где позолоченную бронзу камина и прекрасный портрет леди Анджелики Дюлак в старинной резной раме, картину кисти Гейнсборо, прикрывала марля.

Напротив чудесного портрета ее прародительницы висел написанный Хантингтоном портрет самой миссис Вандерлиден (одетой в черный бархат и венецианские кружева). Портрет этот считался превосходным (словно сам Кабанель¹ писал!), и хотя с момента написания портрета минуло добрых двадцать лет, сходство его с оригиналом по-прежнему признавали «удивительным». И вправду, когда, сидя под своим портретом, миссис Вандерлиден слушала миссис Арчер, можно было принять ее за двойняшку той белокурой и еще довольно молодой женщины, понуро сидящей в позолоченном кресле на фоне гардины из зеленого репса. Выходя в свет, миссис Вандерлиден по-прежнему надевала черный бархат и венецианские кружева, но так как в свет вечерами выходила она теперь редко, то в бархате и кружевах ее удавалось видеть лишь гостям, которых она встречала, стоя в дверях дома, специально открытого по случаю приема. Белокурые волосы ее теперь потускнели, хотя седины в них и не было, но прическа осталась прежней — с плоскими волосяными фестонами на лбу, а прямой нос, ровной линией рассекавший бледную голубизну глаз, со времен портрета лишь слегка заострился на самом кончике. Ньюленду такая ее сохранность в атмосфере полной безукоризненности существования всегда казалась несколь-

¹ Кабанель Александр (1823—1889) — французский живописец академической школы.

ко пугающей — так сохраняются тела, застывшие во льду, застигнутые смертью в пору цветущей жизни.

Как и вся его семья, он уважал миссис Вандерлиден и восхищался ею, и все же эта мягкая благосклонность этой дамы почему-то делала ее менее доступной, чем суровость некоторых тетюшек миссис Арчер, свирепых старых дев, говорящих «нет» из принципа и раньше, чем успели выслушать просьбу.

Миссис Вандерлиден не говорила ни «да», ни «нет», но всегда казалась склонной к снисходительному милосердию до тех пор, пока тонкие губы, изогнувшись в подобии улыбки, не произносили почти неизменное: «Сначала мне надо обсудить это с мужем».

Она и муж ее были так схожи, что Арчер часто сомневался, могут ли эти два слившихся воедино после сорока лет тесного супружества существа каким-то образом разъединиться, хотя бы на время диалога, необходимого, чтобы что-то «обсудить». Но так как оба они никогда не принимали решения, не предварив его загадочным тайным совещанием, то миссис Арчер и ее сын, изложив свое дело, покорно ожидали знакомой фразы.

Однако редко кого-нибудь удивлявшая миссис Вандерлиден на этот раз их удивила, когда длинной рукой своей потянулась к веревочке колокольчика.

— Думаю, — сказала она, — что Генри стоит услышать то, что вы мне рассказали.

Вошел лакей, и она с суровым видом распорядилась:

— Если мистер Вандерлиден кончил читать газету, пожалуйста, попросите его проявить любезность зайти к нам.

«Читать газету» было сказано тоном, как если бы жена министра имела в виду заседание кабинета, на котором председательствует ее муж, — и это не было проявлением высокомерия, просто она привыкла, а все друзья и родственники поощряли ее в этом, считать каждый поступок мистера Вандерлидена и малейшее его движение крайне важными.

Быстрота ее реакции свидетельствовала о том, что дело это она, как и миссис Арчер, признала не терпящим

отлагательства, но чтобы не подумали, будто она уже заранее все решила, она добавила с любезнейшей из улыбок: «Генри всегда так рад тебя видеть, милая Аделина, и он наверняка захочет поздравить Ньюленда».

Двойные двери вновь торжественно распахнулись, и между створками показался мистер Генри Вандерлиден — высокий, худой, облаченный в сюртук мужчина с тускло-белокурой шевелюрой, прямым, как у жены, носом и таким же, как у нее, застывшим выражением любезности в глазах, правда, не бледно-голубых, а бледно-серых.

Мистер Вандерлиден с подобающей случаю любезностью приветствовал миссис Арчер и, пробормотав негромким голосом и в выражениях, совершенно схожих с теми, что содержались в лексиконе жены, свои поздравления Ньюленду, с простотой царствующего монарха уселся в одно из парчовых кресел.

— Я только что «Таймс» читать кончил, — сказал он, сомкнув кончики длинных пальцев. — В городе я бываю так занят по утрам, что знакомиться с утренней прессой мне удобнее попозже, после второго завтрака.

— Ах, это очень разумное решение, помнится, дядя Эгмонт всегда говорил, что чтению утренних газет следует отвести дневные часы, так спокойнее, — с готовностью подхватила миссис Арчер.

— Да, добрый мой батюшка ненавидел спешку. А сейчас мы живем словно впопыхах, — сказал мистер Вандерлиден размеренно и веско, и не спеша, с удовольствием обвел взглядом гостиную, укутанную в чехлы, что казалось Ньюленду символом, подходящим и для изображения хозяев дома.

— Но, надеюсь, чтение ты закончил, Генри? — вставила свой тревожный вопрос жена.

— О да, вполне! — заверил ее мистер Вандерлиден.

— Тогда мне хотелось бы, чтоб Аделина рассказала тебе...

— О, вообще-то, это касается Ньюленда, — с улыбкой сказала миссис Арчер, после чего вновь повторила исто-

рию чудовищного афронта, который потерпела миссис Ловел Мингот.

— И конечно, — завершила она свой рассказ, — и Огаста Уэлланд, и Мэри Мингот обе считают, особенно если учесть помолвку Ньюленда, что тебе и Генри *следует это знать*.

— Ах, — с глубоким вздохом произнес мистер Вандерлиден.

Наступило молчание, в котором тиканье солидных бронзово-золотых часов на беломраморной каминной полке казалось громким, как выстрел сигнальной пушки. Не без благоговения созерцал Арчер две хрупкие, траченные временем фигурки, сидевшие бок о бок, закоснелые в своей вице-королевской непреклонности, рупоры идей, выработанных бог весть когда их предками, призванные судьбой вершить суд, высказывая свое окончательное мнение, хотя куда как с большим удовольствием жили бы они жизнью простой и уединенной, удаля с безупречных газонов Скитерклиффа еле видимые ростки сорняков, а по вечерам дружно и увлеченно раскладывая пасьянс.

Первым нарушил молчание мистер Вандерлиден.

— Ты и вправду думаешь, что это все Лоренс Лефертс затеял, и затеял намеренно? — спросил он, повернувшись к Арчеру.

— Определенно, сэр! В последнее время Ларри позволяет себе больше, чем прежде. Впутался, не при тете Луизе будь сказано, в эту неловкую историю с женой, кажется, почтмейстера в их поселке или еще с кем-то там, не знаю, с кем... Гертруда Лефертс готова теперь подозревать что угодно, и он, боясь последствий, затевает всю эту шумиху, чтобы продемонстрировать, как высоки его моральные критерии, и кричит, надрываясь, о неслыханной наглости тех, кто посмел пригласить его жену на вечер, где будут люди, которых он не желает видеть с ней рядом. Мадам Оленска он просто-напросто использует в качестве громоотвода. Я и раньше замечал за ним попытки проделать подобную штуку.